

ИММАНУИЛ ВАЛЛЕРСТАЙН

МИРОСИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ:  
ВВЕДЕНИЕ



ТЕРРИТОРИЯ БУДУЩЕГО

ИММАНУИЛ ВАЛЛЕРСТАЙН  
МИРОСИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ:  
ВВЕДЕНИЕ



ИММАНУИЛ ВАЛЛЕРСТАЙН

# МИРОСИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ: ВВЕДЕНИЕ

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО  
НАТАЛЬИ ТЮКИНОЙ

МОСКВА  
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ТЕРРИТОРИЯ БУДУЩЕГО»

2006

ББК 66.01

В 15

СОСТАВИТЕЛИ СЕРИИ:

*В. В. Анашвили,  
А. Л. Погорельский*

НАУЧНЫЙ СОВЕТ:

*В. Л. Глазьев, Г. М. Дерлугьян, Л. Г. Ионин,  
А. Ф. Филиппов, Р. З. Хестанов*

**В 15 Валлерстайн Иммануил. Миросистемный анализ:**  
**Введение / пер. Н. Тюкиной. М.: Издательский дом «Территория**  
**будущего», 2006. (Серия «Университетская библиотека**  
**Александра Погорельского») — 248 с.**

ISBN 5-91129-028-6

© Издательский дом  
«Территория будущего», 2006

## СОДЕРЖАНИЕ

<i>Георгий Дерлугьян. Самый неудобный теоретик</i> . . . . .	7
Слова благодарности . . . . .	41
Для начала: Как понимать мир, в котором мы живем . . .	43
Миросистемный анализ . . . . .	49
1. Истоки миросистемного анализа. <i>От обществоведческих дисциплин         к исторической социальной науке</i> . . . . .	49
2. Современная миросистема есть капиталистическая мировая экономика. <i>Производство, прибавочная стоимость и поляризация</i> . . .	85
3. Возникновение многогосударственной системы. <i>Национальные государства, колонии         и межгосударственная система</i> . . . . .	118
4. Создание геокультуры. Идеологии, социальные движения, социальная наука . . . . .	148
5. Кризис современной миросистемы. <i>Бифуркация, хаос и варианты выбора</i> . . . . .	175
Глоссарий . . . . .	200
Библиографический путеводитель	
1. Произведения Иммануила Валлерстайна . . . . .	221

II. Произведения приверженцев	
миросистемного анализа . . . . .	223
III. Критика миросистемного анализа	225

## ПРИЛОЖЕНИЕ

<i>Иммануил Валлерстайн. Эволюция структур</i>	
<i>знания в миросистемной перспективе . . . . .</i>	231

ГЕОРГИЙ ДЕРЛУГЬЯН

## САМЫЙ НЕУДОБНЫЙ ТЕОРЕТИК

Рассказывать в отстраненно-объективной тональности о значении Иммануила Валлерстайна в моем случае было бы равносильно обману читателя. Если совсем начистоту, я по сей день не могу вполне решить, каково это значение. От перспектив, открывающихся в работах Валлерстайна, захватывает дух. Сегодня он безусловно один из самых известных теоретиков в области общественных наук, светило и мировая знаменитость. Но в то же время ни один теоретик не вызывает столько критики и попросту отторжения как он, причем в первую очередь со стороны своих американских коллег. К моему мнению о Валлерстайне примешивается сугубо личное: мы слишком близки с ним и, как в любых многолетних человеческих отношениях, бывало всякое.

Помню, в начале 1990-х годов проходила конференция на дежурную для тех лет тему «Социология в XXI веке». Выступавшие неизменно говорили с позиций своих школ: видная феминистка — о значении гендерных проблем, постмодернист — о зыбкости постмодерна и фрагментации тотальных дискурсов, радикальный марксист — о неизбежном возрождении подлинного марксизма в свете обострившихся империалистических противоречий, позитивист-методолог — о перспективах дальнейшей математизации социальных наук,

энтузиаст моделей рационального выбора — конечно, о торжестве индивидуалистической рациональности и т. д.

Когда очередь дошла до Валлерстайна (между прочим, незадолго до того избранного Президентом Международной социологической ассоциации), он начал свое выступление убийственно спокойной констатацией: «Леди и джентльмены, в будущем веке социологии больше не будет». Выдержав паузу, Валлерстайн как всегда доходчиво изложил свои доводы: «Социология, как и прочие дисциплины, вышедшие из узко-профессионального деления знания в XIX веке, идет к вымиранию. Однако есть два пути вымирания — большой и малый, почетный и позорный. Один путь к вымиранию — это измельчание. В силу политических, ведомственных и групповых интересов у нас продолжится *ad absurdum* выделение в самостоятельные поддисциплины социологии стратификации, рынков, здравоохранения, женщин, афроамериканцев, абстрактного математического моделирования и т. д. Со временем все эти социологические княжества станут не только самостоятельными, но и неинтересными никому, кроме самих себя. И тогда, скорее всего при очередном сокращении бюджетных ассигнований, источником селективного вымирания станут решения деканатов, а также сами студенты, которым надоест схоластика.

Другой путь, к которому я вас призываю, — это путь наддисциплинарного преодоления раздробленности знания. Многие социологи, как и наши коллеги на других университетских кафедрах, уже фактически занимаются перекрестным изучением и рынков, и политики, и культуры, и их системно-исторических истоков. Давайте это признаем открыто и начнем создавать новую парадигму единой исторической социальной науки. В этом случае социологии также больше не станет. Увидите: это не так страшно. Некогда са-

мостоятельные ботаника, зоология, и целые разделы географии сегодня влились в биологию, и, похоже, все живы. Почему мы так уверены, что экономика, социология и история должны и всегда будут существовать отдельно?»

В этот момент ко мне наклонилась одна весьма влиятельная ученая дама и прошептала с желчной иронией: «Все это забавно, но как Вы, имея такого научного руководителя, надеетесь получить позицию в сколько-нибудь приличном университете?» Конечно, она была права. Пробиваться пришлось, стиснув зубы и совершенно не рассчитывая на покровительство именитого шефа, который принципиально не участвует в таких важнейших для академической среды играх, как стратегическая расстановка своих бывших аспирантов. Сколько раз в эти трудные годы я умолял и требовал, чтобы он перестал распыляться на публицистику и поездки по всему миру и вместо этого дописал наконец четвертый том «Современной миросистемы». Но ИВ настолько же добродушно невозмутим, насколько и внутренне упрям. А, может, он видит что-то, чего я не замечаю по сей день?

Однажды, во время дружеского застолья в честь Рэндалла Коллинза, мой младший сынишка при упоминании автора того самого злополучного четвертого тома, выпалил с детской непосредственностью: «А мы с дедушкой Валлерстайном играли в прятки у него в кабинете. Там столько книжных шкафов!»

Рэндалл, наш ведущий веберианец, отложил вилку и задумчиво усмехнулся в усы: «Да-а, интересно, как бы я себя чувствовал, если бы с моим сыном в прятки играл Макс Вебер?»

Тут пришел мой черед задуматься: «Рэндалл, Вы всерьез считаете эти фигуры равновеликими?»

Коллинз, написавший среди многого тысячестраничную «Социологию философий», ответил в полном соответствии

со своей теорией научных гениев: «Не нашему поколению судить об этом. Макс Вебер стал классиком только после смерти, поскольку оказалось, что социология XX века в основном пыталась ответить на поставленные им вопросы. Сегодня Валлерстайн маргинален для научного мейнстрима в США прежде всего из-за идейного радикализма и размаха проблем, которые он ставит. Но за Валлерстайном стоит хорошо артикулированная модель макроисторических изменений и сетевых отношений, которую пока мало кто правильно понимает и использует, поскольку в интеллектуальном сообществе престиж и власть сейчас принадлежат другим сетевым моделям, гораздо более локальным по уровню обобщения, более статичным и в целом избегающим затрагивать факторы власти и социальных конфликтов. Аналитическая полезность этих моделей быстро исчерпается. Поэтому вполне вероятно, что ученым следующих поколений предстоит отвечать на вопросы, в основном поставленные Валлерстайном».

На русский Валлерстайна не переводили до самого последнего времени: в советские времена он считался недостаточно марксистом если вообще не мелкобуржуазным ревизионистом, в постсоветские девяностые годы — потому что теперь скептицизм по поводу рыночных реформ и транзитов к демократии считался слишком близким марксизму. Хотя бывали курьезные исключения, вроде гневной отповеди (вписанной, очевидно, кем-то из эрудированных советников) в речи президента Каримова насчет «мрачных пророчеств американского футуролога Валлерстайна», который отказывает суверенному Узбекистану в перспективе достижения уровня развития Запада.

Тем не менее в нашей стране Валлерстайн был известен едва не с самого начала. Впервые о теориях Валлерстайна

мы, группа студентов МГУ, узнали в 1981 году из поразивших наше воображение лекций А. И. Фурсова по истории стран Азии и Африки. Вскоре меня «застукали» в библиотеке ИНИОН (тогда единственного места, где можно было почитать первый том валлерстайновской эпопеи «Современная миросистема»<sup>1</sup>) с поддельным студенческим билетом: в ИНИОН пускали только дипломников, и я приписал себе пару курсов. С самим же Валлерстайном мы познакомились при довольно «шпионских» обстоятельствах в конце 1987 года в Мозамбике: для референта-переводчика при советнике Госплана, встреча с американским профессором была рискованной авантюрой. Тогда Валлерстайн впервые широким жестом спас меня от бдительных товарищей из мозамбикской контрразведки.

<sup>1</sup> Immanuel Wallerstein, *The Modern World-System. Volume I: Capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth century*. New York: Academic Press, 1974. Что до пресловутого дефиса в ключевых терминах миро-экономика, миро-система, и мир-империя — дело в способах словообразования. Когда Фернан Бродель писал свое «Средиземноморье в эпоху Филиппа II», он хотел определить объект своего исследования — хозяйственный мир Средиземноморья — немецким термином *Weltwirtschaft*. Поскольку Бродель писал на родном французском, который не позволяет таких длинных слов (да еще и в немецком плену), то придумал термин *economie-monde* — не «мировая экономика», а именно многоязыкая, сложносочиненная экономика, организующая собственный мир Средиземноморья. Валлерстайнов термин *world-system* есть попросту английская калька с французского. Однако в русском как раз можно переводить немецкие термины при использовании союза «о». Дефис тут, строго говоря, совершенно излишен, но уже достаточно примелькался в русских переводах.

Тогда же, каюсь, я впервые заподозрил Валлерстайна в завиральщине. Напомню приметы эпохи. В конце 1987 года Ельцина уже изгнали из Политбюро, но еще не взорвался Карабах; впервые на конкурентной основе обещали позволить избирать делегатов на XIX партконференцию; законы о трудовом коллективе и кооперативах сулили пока еще непонятно какие рыночные возможности; Нина Андреева со своими кураторами сочиняли письмо, а советская страна до слез хохотала над полудегаальными репризами Жванецкого.

Припомнив такой событийный фон, попробуйте теперь вообразить, как тогда звучали прогнозы ИВ: «Мой друг, Ваше поколение советских граждан будет ездить в Париж по делу срочно. (Крылатую фразу Жванецкого он оказывается где-то слышал.) Но я не уверен, что это сделает вас настолько счастливее, как вам сейчас представляется». Либо: «Скажите, что, кроме инерции мысли, заставляет Вас предположить, что 7 ноября, скажем для безопасности прогноза, эдак 2017 года, на Красной площади состоится какой-то парад? Сможет ли ваше общество вообще согласиться, столетие *чего* отмечать в этот день?»

И, наконец, главная крамола для советского человека времен перестройки, глубоко уверовавшего в уникальную ненормальность собственной страны: «А что такое, по-Вашему, “нормальный” капитализм? Приведите мне хотя бы один таксономический признак, который исключает СССР из капиталистической миросистемы. Отсутствие личных свобод и частной собственности на капитал? Не Вам бы, дорогой Георгий, об этом говорить: Вы слишком хорошо знаете, что из себя представляла Португальская империя». В самом деле, работая в колониальных архивах, я постоянно обнаруживал гомерически забавные документы, вышедшие как будто из-под пера Салтыкова-Щедрина, вроде меморандума «О пользе уме-

ренно-отеческой порки в привитии туземцам истинно патриотического уважения к опекающей их Империи», сочиненного административным инспектором 1-го ранга сеньором полковником Жозе Мария де Соуза Сантушем.

Московский путч августа 1991 года мы с ИВ наблюдали уже из Бингемтонского университета по телевизору. Валерстайн оказался заядлым политическим наблюдателем, не менее азартным, чем футбольные болельщики. Я же все еще приходил в себя после невероятного перенесения через океан и контраста между происходившим на родине и бытом американского провинциального городка. Когда по CNN объявили, что Горбачев летит в Москву из Фороса, я заметил, что это конец и карьеры президента СССР, и, видимо, самого Советского Союза.

«Не так скоро, мой друг, — ответил ИВ, — Горбачеву предоставился великолепный политический шанс. Сейчас он вернется в Москву, при всех телекамерах сердечно, по-русски расцелует Ельцина, признает, что недооценивал Бориса, наградит его званием спасителя демократии, после чего подвинет в сторону и начнет колоссальную чистку советского аппарата от путчистов, предателей, реакционеров и прочих противников нового мышления. Учтите, нет средства эффективнее массовой чистки для рецентрализации такого крупного государства, особенно когда чиновничество и генералитет испуганы и растеряны, а лидер пользуется поддержкой значительных сегментов населения. Запад в такой ситуации даже голоса не подаст о правах человека. Более того, ваш Шеварднадзе, вовремя сдав канцлеру Колю Восточную Германию, прежде чем она сама вырвалась из рук, сумел а) получить в союзники *всю* Германию и б) внести глубокий раскол в отношения немцев с англичанами и французами. Миттеран и Тэтчер брюзжат сквозь зубы, но ничего не могут по-

делать с этим объединением и, соответственно, с уменьшением удельного веса своих стран. Президент Буш (в 1991 году это, конечно, Буш-старший. — Г.Д.) является вторичным политиком, доставшимся нам после Рейгана. Он не наделен ни рейгановской интуицией, ни харизмой, ни политической волей. Вашингтон для Москвы сейчас уже не имеет решающего значения. Ваше будущее — в умелом маневрировании среди европейских разногласий и в союзе с немцами, которым вы отчаянно необходимы и сейчас, пока в Германии остаются советские войска, и особенно в будущем, когда немцы только при поддержке Москвы смогут построить устойчивый баланс сил в Европе. Нисколько при этом не сомневаюсь, что ваша правящая элита давно, практически сразу после 1945 года или после смерти Сталина, внутренне была готова обменять идеологию на допуск в клуб ведущих капиталистических стран. Сейчас коммунистическим притязаниям СССР явно пришел конец. Но разговоры про роспуск Советского Союза — фантазии националистической интеллигенции плюс торговля местных элит. Лишиться СССР, такой геополитической базы для почетного вхождения в Европу? Провинциализироваться, скатиться на периферию? Нет, не верю, это было бы полным безумием».

По сей день не могу решить, насколько реальной была историческая развилка, которую 22 августа 1991 года видел Валлерстайн, но не смог разглядеть Михаил Сергеевич? Или, если переформулировать задачу на более техническом языке, каков был потенциал исторической бифуркации в хаотической точке, где властные структуры и процессы системного воспроизводства выходили за предельные асимптоты и должны были превратиться во что-то другое, — либо, что составляет собственный сектор возможностей, после катастрофического периода продолжить существование в умень-

шенном и ухудшенном варианте, то есть пойти путем инволюции? Каков должен был быть когнитивный потенциал, дискурсивные рамки, позиции в социальном поле и организационные ресурсы ключевых участников событий, чтобы воспользоваться альтернативой, конечно, если она в самом деле существовала?

Помимо интереса для отечественного читателя, данная история хорошо иллюстрирует, почему Валлерстайн в последние годы придает такое значение так называемым «теориям хаоса», если точнее — недетерминистической эпистемологии своего русско-бельгийского друга Ильи Пригожина, лауреата Нобелевской премии по химии и одного из основоположников современных теорий стохастических колебаний и самоорганизации в открытых сложных системах<sup>2</sup>.

Сами по себе идеи пространственной нелинейной эволюции не так уж и новы. Движение в этом направлении обнаруживается в математике и философии с конца XIX века. (Сам Валлерстайн считает, что на него наибольшее влияние оказал Фрейд, подвергший сомнению инструментальную рациональность.) Но эти идеи оставались на периферии знания вплоть до 1960-х годов. Тут, конечно, видна прямая связь с идеологическим климатом эпохи. От ученых, которые хотели получить признание современников, ожидали новых открытий в русле технического и общественного прогресса. Поэтому интеллектуальные усилия были направлены либо на прикладные исследования (особенно инженерные, где понятие хаоса, конечно, воспринималось с досадой), либо на теории, которые подтверждали веру в определенность

<sup>2</sup> Пригожин И., Стенгерс Э. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой / Пер. с англ. / Общ. ред. В. И. Аршинова, Ю. Л. Климонтовича и Ю. В. Сачкова. М.: Прогресс, 1986.

Вселенной и растущую власть человека над природой вещей и природой общественных отношений.

В социальных науках мощнейшее влияние оказывала долгая холодная война между либеральной реформистской идеологией и радикальной марксистской оппозицией. Великая идейная борьба началась не в 1945 и даже не в 1917 году, а практически сразу после оформления марксистской оппозиции в 1848 году. Большинство главных концепций современности на самом деле есть позиции в той борьбе. При этом мало кто был способен заметить (напряжение межконкурентных полюсов было настолько сильным), что либералы и марксисты разделяли общие постулаты о прогрессе, его всеобщей стадийности и существовании непреложных законов развития. Споры шли о количестве и наименовании исторических ступеней (способов производства либо аграрных—индустриальных—постиндустриальных обществ), о конечной точке развития (либерально-капиталистическая современность либо социалистическое будущее), о путях достижения конечного состояния общества (отсюда затяжная полемика о реформе или революции), о нормативном понятии справедливого распределения политической власти и богатства (представительская демократия или пролетарская диктатура), а также о группе—носителе справедливости и высшей ступени прогресса (откуда регулярные поиски «подлинного» пролетариата или среднего класса). Но при этом принималась за аксиому сама идея поступательного движения по ступеням развития и стремление к овладению законами этого движения.

Отказ от веры в познаваемые и непреложно-детерминистские законы прогресса вовсе не означает, что нам остаются постмодернистское сомнение, агностика или релятивизм, и ни в коем случае не отказ от научного знания. Чтобы уз-

нать, какой вариант разрешения проблемы предлагает Валлерстайн, надо просто приложить не самое великое усилие и прочесть эту небольшую, хотя довольно плотно написанную книгу. Но чтобы пояснить, о чем идет речь, приведу пример прагматического подхода Валлерстайна к одной старинной проблеме, которая остается фундаментальной для знания об обществе, — проблеме воли и предопределенности, или, на языке социологических теорий, проблеме соотношения безличной структуры и человеческой агентности.

Проблема в самом деле старинная. Человек, противящийся роковой судьбе, был в центре древнегреческой трагедии, если не шумерского «Эпоса о Гильгамеше». Правим мы социальными обстоятельствами своей жизни или они правят нами? В такой абстрактной вневременной постановке, считает Валлерстайн, проблема не решаема. Вопрос необходимо соотнести с историческим временем. Это прекрасно понимал Фернан Бродель и потому так много внимания уделял разработке понятия временной протяженности: от самого краткого событийного времени до среднесрочного времени исторических конъюнктур и далее — до вековой протяженности исторических эпох, знаменитого броделевского *longue durée*.

Вопрос о соотношении действия и инерционной структуры становится решаем, если его переформулировать следующим образом: когда и почему человек преобладает над структурами и когда структуры властвуют над человеком? Ответ вкратце может быть примерно такой: человек способен изменять структуры в краткие моменты структурного кризиса (бифуркации, хаотического перехода), когда ослабевают и становятся подвижны ограничители. Тогда даже слабые или исторически случайные импульсы могут приобрести далеко сказывающиеся последствия. В обычных же условиях, человеческое действие приобретает результат только если его век-

тор соответствует спектру допустимого действия. Иначе даже самое «героическое» усилие гасится «косными» (инерционными) структурами. Но в исторических точках бифуркации пространство возможного возрастает пропорционально кризису структур. Неизбежный парадокс состоит в том, что сами структуры есть результат прошлых кризисов и — всегда лишь частично успешных — человеческих усилий по его преодолению. Всякая социальная структура, прежде чем стать объективной реальностью, кем-то и когда-то была построена. Вопросы — когда, кем, почему, как функционирует конкретная структура (и насколько ее хватит) — как раз и составляют главные задачи эмпирического исследования в исторической социальной науке. Поэтому ретроспективное объяснение бифуркаций (или «узловых моментов» — как у русско-американского экономического историка Александра Гершенкрона) приобретает особый статус в исследовательской программе миротестового анализа. Вопрос отнюдь не отвлеченный.

Политика — это искусство возможного. Но как мы узнаем, что возможно?

Обратите внимание: насколько такая постановка проблемы отличается и от прежней, подчиняющей волю веры в объективные законы развития, и от романтического лозунга «требуйте невозможного!». Собственно, в этом и заключается смысл валлерстайновского неологизма «утопистика», понимаемого как практика расчета возможных альтернатив на основе анализа всей предшествующей эволюции системы с тем, чтобы в точке системной бифуркации попытаться повернуть систему в сознательно избранном направлении.

Задумайтесь над хорошо известным примером. Каким образом в общем-то маргинальной даже среди русских революционеров партии большевиков удалось не только захва-

тить власть, но, что куда сложнее, удержать ее? Какую роль в этом сыграли политические действия лично Ленина, как известно, не раз шедшего наперекор мнениям своих товарищей? Со Сталиным проще, поскольку в его распоряжении уже был созданный в ходе крайне ожесточенной Гражданской войны партийно-государственный аппарат или, по удачному выражению Стивена Хэнсона, дотоле невиданная машина власти, «которую не мог вообразить и сам Макс Вебер, — харизматическая бюрократия»<sup>3</sup>. Ленин же создавал эту машину из обломков, по ходу находя и выстраивая возможности, которые не видели даже самые радикальные современники.

Возникает множество мучительных вопросов, формулировка которых прямо вытекает из идеологических предпочтений. Прежде всего: зачем нужна была эта революция? Можно ли было избежать человеческих трагедий, связанных с большевистской революцией и ее сталинским продолжением? На это Валлерстайн ответил бы предложением иначе сформулировать вопрос. Не будет ли более продуктивно спросить, почему империя не смогла провести вовремя реформы, а русская революция пошла именно таким путем? В чем заключались внешние и внутренние ограничители, на которые реагировали Ленин и Сталин? Чего добились большевики и чего они не могли добиться, создав подобную машину власти? Почему, если принять, что большевизм был сугубо русским явлением (а то и плодом личной патологии его лидеров), аналогичные действия впредь совершались всеми революционными преобразователями XX века вне зависимости от идеологий? И почему успешные революции

<sup>3</sup> Stephen Hanson. *Time and Revolution. Marxism and the Design of Soviet Institutions*. Cahpel Hill: University of North carolina Press, 1997. P. 18.

возникали не в самых богатых, но и не в самых бедных странах, а именно в той зоне, которую Валлерстайн называет полупериферийной, в промежуточном поясе стран, подобных России, Испании, Турции, Китаю, или Ирану? Почему на полупериферии повсеместно проводились индустриализации, но также и массовые репрессии? Из чего возникает сама идея догоняющего развития? Каковы были возможности и каковы оказались пределы этой стратегии? Наконец, почему диктатуры развития практически одновременно, а именно в пределах 1968 года, теряют вирулентность и так или иначе начинают искать компромиссы с собственным населением?

Это только один из уровней вопросов, которые ставит Валлерстайн. Вопросы складываются в обширную программу конкретно-исторических социальных исследований, которую еще предстоит реализовывать. Валлерстайн не дает всех ответов и подчеркнуто воздерживается от формулировки каузальной теории. Эту задачу он считает на сегодня преждевременной. Как станет ясно из небольшой книги, которую мы раскрыли, свою главную задачу Валлерстайн видит в расчистке завалов прежних идеологических концепций и обретении новой перспективы — не конкретной теории, но метатеоретической возможности иначе взглянуть на мир: как на целостную исторически возникающую систему, внутри которой расположены в неразрывном взаимодействии государства и рынки, классы и статусные группы, культурные комплексы и способы хозяйствования, идеологии и политические движения. Восстановление целостности знания и целостный эволюционно-исторический подход к изучению человеческих обществ и есть задача миросистемного анализа.

Взгляды Валлерстайна на устои мироздания и способы его исследования находятся в русле фундаментальных изме-

нений, которые происходят повсему фронту науки. (Скорость и их степень варьируются, однако нам важнее обозначить общий тренд.) В химии и физике эти прорывы ассоциируются прежде всего с таким именем, как Пригожин. В биологическом эволюционизме — конечно, современный классик Эрнст Майр, вслед за которым шел Стивен Джей Гулд, за свою непродолжительную жизнь выдвинувший теорию «прерывистого равновесия» и вдобавок оказавшийся невероятно талантливым популяризатором неodarвинистского синтеза. В истории — Фернан Бродель, прямой предтеча Валлерстайна, и броделевская школа «Анналов». В антропологии можно упомянуть такие имена, как Элман Сервис, Маршалл Салинс и, поколение спустя, систематизаторы Аллен Джонсон и Тимоти Эрл. Франко Моретти обозначил очень своеобразное направление в литературоведении. Собственно в социологии, помимо Валлерстайна, необходимо назвать как минимум Чарльза Тилли, Теду Скочпол, Джека Голдстоуна, Рэндалла Коллинза и Пьера Бурдьё.

Сегодня с этими именами связана целая научная революция, куновский «переворот парадигмы». Все они — от химиков и биологов до историков и гуманитариев — с 1960-х годов начали пересмотр самих основ механистической и строго линейной идеи мироздания, возникшей во времена Ньютона и заложенной в организационную модель деления знания на отрасли и дисциплины, которые оформились в XIX в. Прежняя парадигма была не только линейной и детерминистической. В качестве высшей цели полагался поиск абстрактных, инвариантных законов. Новая парадигма, напротив, занимается объяснением вариативности и изменчивости в пространстве и времени. Неплохую рабочую метафору предложила социолог Дороти Смит: картографирование исторического ландшафта с конечной целью помочь

людям ориентироваться. Пространственные метафоры у теоретиков нового поколения возникают постоянно — поля социальных взаимодействий у Бурдье, сектора возможностей у Тилли (книги которого знамениты своими аналитическими карт-схемами), сетевые взаимоотношения. Да и само понятие миро-системы есть, конечно, пространственно-временная метафора, аналитическая карта мира. Или, если хотите, схема мирового распределения экологических ниш.

Перечисление известных имен, неизбежно неполное и импрессионистское, призвано только обозначить контуры поворота, о котором Валлерстайн пишет в предельно общей форме и без всяких традиционных ссылок. Валлерстайн здесь говорит только за себя и в максимально доходчивой форме.

Мне же как автору предисловия остается последовать принципу картографирования социальной среды и помочь читателю расположить автора данной книги в интеллектуальном пространстве. Траектория в поле взаимодействий есть важнейший объяснительный механизм. Постараюсь пояснить, как Валлерстайн пришел к своим идеям. Но не менее важно показать, где пролегают основные линии конфликтов.

Валлерстайн с молодых лет принадлежал к интеллектуальной и политической элите Нью-Йорка, притом на пике славы космополитического мегаполиса, в послевоенные 1950–1960-е годы. Среди его учителей и коллег по Колумбийскому университету были Карл Поланьи, Маргарет Мид, Роберт Мертон и Пауль Лазарсфельд, Райт Миллс, Йохан Галтунг, Сеймур Мартин Липсет, Дэниел Белл, Ханна Арендт.

Колумбийский университет пользовался тогда тройным преимуществом перед гораздо более традиционными Гарвардом и Принстоном. Во-первых, он находился в городе

мирового значения, где кипела политическая и культурная жизнь. Во-вторых, Нью-Йорк притягивал к себе массы иммигрантов, включая цвет интеллектуальной элиты Германии и Центральной Европы, бежавшей от войн и диктатур. (Родители Валлерстайна принадлежали к волне интеллигентов-беженцев из распавшейся Австро-Венгрии.) Наконец, Нью-Йорк и Колумбийский университет служили мозговым центром американского либерального реформизма. Именно там вырабатывались идеи рузвельтовского «нового курса» и послевоенного обустройства мира.

Из чувства динамизма, исторического успеха и центрального положения в стране и мире рождается теория модернизации. Школа модернизации (и, более широко, структурно-функционалистского анализа) стремилась с либерально-реформистских позиций обобщить исторический опыт Запада, описать только что освободившиеся от колониализма страны третьего мира и сформулировать для них программу ускоренного перехода от «традиционного общества» к «современности», то есть идеализированной модели Америки (либеральной капиталистической демократии, теоретически избавленной от расовых волнений, коррупции в политике и монополистическом ВПК или тоталитарной паранойи маккартизма).

Валлерстайн не просто входил в младшее поколение школы модернизации. Вместе со своим однокашником, самым близким другом и соавтором Теренсом Хопкинсом, он считался одной из надежд школы модернизации. Как нередко случается с поколениями продолжателей ведущих школ в периоды расширения, сменяющегося стремительным трансформационным кризисом, нет особой иронии, но есть регулярная закономерность в том, что именно Валлерстайн и Хопкинс оказались в оптимальной точке во вре-

мени и сетевом интеллектуальном пространстве, чтобы устроить успешный бунт. Для академической науки, как и для живописи, внутренний поколенческий бунт на пике экспансии составляет типичный вариант возникновения прорывов из ранее господствующих школ.

Однако, отвергнув главные постулаты теории модернизации — прежде всего ее идеологическую телеологию, которая принимала за данность, что все страны находятся где-то на пути превращения в Америку, — Хопкинс и Валлерстайн сохранили сам порыв школы модернизации к целостному объяснению возникновения современного мира и формулированию научно обоснованной политической программы трансформации существующего мира. (Кстати, сохранились и многие личные связи. Валлерстайн до конца продолжал дружить с Дэниэлом Беллом.)

После военного призыва в годы Корейской войны Валлерстайн вернулся в аспирантуру Колумбийского университета и очень быстро написал по тем временам крайне необычную диссертацию о механизмах появления национального самосознания в британских и французских колониях в Западной Африке. (Американская социология тогда, как, впрочем, где-то на 98 % и поныне, занималась исключительно абстрактной теорией либо изучением социальных проблем американского, и только американского, общества.)

Африканские интересы Валлерстайна принесли неожиданный успех. Через несколько лет африканские друзья молодого американского ученого взлетели на волне деколонизации и заняли государственные посты. (Сам ИВ утверждает, что самое большое воздействие на него оказал, однако, Франц Фанон, умиравший от лейкемии в вашингтонской больнице для негров. Именно Фанон побудил Вал-

лерстайна осознать, что идеологическое противостояние Запада и советского блока — преходящая коллизия на фоне возникающего конфликта глобального Севера и Юга.)

В первой части своей научной карьеры Валлерстайн был признанным африканистом. После 1960 года в поездках по Африке, в Гвинее или Танзании, его порой встречали президентские кортежи. В 34 года Валлерстайн уже произведен в пожизненные профессора Колумбийского университета и сделался частым гостем в элитных политических салонах Манхэттена. Из Вашингтона ему заказывали экспертные оценки, что было престижно и в те годы очень неплохо оплачивалось. В годы президентского правления Джона Ф. Кеннеди Америка пребывала на пике оптимизма и мощи, которую лишь оставалось употребить во благо мира. Валлерстайн тогда даже прочили в госсекретари США. В реальности прошел кандидат с похожим происхождением и биографией, но куда более мрачным взглядом на политику — Генри Киссинджер<sup>4</sup>. Эпоха роста благосостояния и оптимизма закончилась совершенно внезапно.

В 1968 году Роберт Кеннеди, брат президента и один из политических покровителей молодого Валлерстайна, был убит на пике собственной президентской кампании. В том же 1968 году студенческие протесты вспыхнули как порох и так же быстро отгорели, не имея четкой направляю-

<sup>4</sup> Кстати, в Колумбийском университете Валлерстайн некогда вел семинар с другим молодым преподавателем, Збигневом Бжезинским, о котором он отзывался как о незаурядном политическом уме, но совершенно помешанном на своем шляхетском происхождении и классовой ненависти к России. Под этим углом, рекомендует Валлерстайн, следует читать теоретические рассуждения Бжезинского о тоталитаризме и мировой политике вообще.

щей. Поколение шестидесятников впало в хандру, мировая экономика вступила в долгую полосу кризисов.

Когда Валлерстайна вынудили оставить родной Колумбийский университет, он вообще уехал в тихую Канаду. Чего это ему стоило, можно догадываться. Но для истории важнее другое. В замещение хандры и прочих ощущений изгнания Валлерстайн углубился в теоретическое переосмысление самих истоков современного миропорядка и господствующих воззрений, пытаясь прагматически и всерьез поставить вопросы: каковы пределы возможностей целенаправленного изменения мира, могут ли развивающиеся страны догнать Запад и чем на самом деле были проекты либеральной и марксистской утопии? Для ответа на такие вопросы пришлось уйти из современной Африки и углубиться в историю экспансии Запада, начиная с эпохи Великих географических открытий, или, как выражаются историки, Долгого шестнадцатого века. Тогда Валлерстайн открыл для себя работы Фернана Броделя, прежде всего «Средиземноморье».

Итогом стал прорыв в социальной науке, который начался с публикации в 1974 году первого тома «Современной миросистемы». Второй (после африканистики) этап в интеллектуальной биографии Валлерстайна начинался неожиданно оглушительным успехом. Монографию признала Книгой года Американская социологическая ассоциация и присудила ее автору премию Питирима Сорокина. ИВ тогда превозносили буквально как нового Маркса или Макса Вебера (такова шапка одной из голландских газет тех лет), но также клеймили отступником и от Маркса, и от Вебера. Оценки совершенно противоположные, но, может статься, все они отчасти справедливы. Чтобы двинуться дальше классиков, их надо было усвоить и преодолеть, притом преодолевать либерально-реформистскую и марксистскую традицию

надо было непременно вместе: ибо, как говорил Пьер Бурдьё, самая труднопреодолимая ортодоксия никогда не является нам в одиночку, а непременно в паре с якобы взаимоисключающей антиномией.

Публикация первого тома «Современной миросистемы» и сопутствующих работ Валлерстайна тех лет (в том числе знаменитой краткой статьи с озорным заголовком «Модернизация, упокойся с миром») ознаменовала похороны теории модернизации и связанных с нею подтеорий, вроде стадий экономического роста или традиционного общества<sup>5</sup>. Теория модернизации предполагала аналитически изолированное изучение и лишь частичное сравнение отдельных стран, якобы двигающихся параллельно, но с опережением или отставанием друг от друга, по ступеням «прогрессивного развития» от «традиции» к «современности» либераль-

<sup>5</sup> После крушения СССР модернизационные идеи были массово и некритически восприняты в нашей стране по двум достаточно очевидным причинам, коренящимся в самой структуре отечественного интеллектуального поля. Эпистемологически и структурно теория модернизации удивительно близка советскому варианту обществоведения, только конечная точка прогресса больше не развитой социализм, а столь же идеализированный развитой капитализм; не эпоха НТР, а постиндустриальная эпоха; не мировая соцсистема, а глобализация. На уровне политической идеологии, язык модернизации дает свое объяснение современного печально-постыдного положения дел указанием на скверные традиции и нехватку рациональной культуры, что прямо соотносится с критическими традициями восточноевропейской интеллигенции, плюс модернизация дает некую конечную цель, предположительно достижимую в будущем.

ной экономики и демократии. Беда, что историческая реальность в эту схему никак не укладывалась. Поэтому в теории начали плодиться свои эпициклы.

Возьмите Индию. На протяжении двух веков это колония Британии с явными, хорошо документированными фактами политически обусловленной перекачки ресурсов в имперскую метрополию. Как можно рассматривать экономическую «отсталость» Индии вне контекста ее включенности в Британскую империю? Однако в рамках теории модернизации Британию предполагалось рассматривать как современное, а значит, сугубо национальное государство (в отличие от «отсталых» империй вроде Турции и России), а Индию — саму по себе, как продукт собственной истории и культуры. Этот подход Валлерстайн довел до риторического абсурда в другой известной статье — «Существует ли Индия?» (которая вначале была его приветственным словом Конгрессу индийских социологов в Дели, что, несомненно, оживило аудиторию).

Заголовок предполагал положительный ответ, но только для современного периода. Валлерстайн напоминал индийцам хорошо им известные, но редко систематически соотносимые исторические факты. До прихода англичан Индийский субконтинент никогда не находился под юрисдикцией одного государства, причем индийские княжества, империи и территории безгосударственных племен отличались множеством языков, культур, религий. Индия стала единой — и британской — не в силу некоего внутреннего процесса, а потому, что двести с лишним лет назад в ходе Семилетней войны Франция потерпела поражение и оставила колониальные притязания на юге Индии.

Валлерстайн предложил несложный мыслительный эксперимент: что было бы, если бы французы тогда победили? Очевидно, сегодня мы наблюдали на месте Индии две гипо-

тетические страны: на юге — некую Дравидию, где местные европеизированные элиты говорят по-французски и на местных языках дравидской семьи, и на севере — англо- и хиндиязычный Хиндустан. В обеих странах существовала бы собственная философия, история, поэзия, которые бы с гордостью и просто как само собой разумеющееся принимали исконно древнее отличие дравидийской и индо-арийской цивилизаций. И ведь это — Индия с ее вековыми традициями. Что говорить о прочих государствах, которые, совершенно очевидно, возникли, в ходе расширения капиталистической миросистемы, как сами Соединенные Штаты Америки?

Вывод: национальные государства не могут быть самостоятельной и самоценной единицей изучения, что бы нам ни предписывали национальные гордость и министерства науки. Как в астрономии объект исследования в принципе един — Вселенная, так и в социальной исторической науке единицей исследования должна быть вся миросистема. Только в рамках миросистемы возникают и могут продуктивно исследоваться две основные институциональные опоры современности — государства и рынки.

Валлерстайн предложил рассматривать современный мир не как набор местных отклонений от политически заданных абстрактных идеальных типов (демократии, тоталитаризма либо свободных рынков), но как сложносочлененную и постоянно эволюционирующую географическую зону, которая первоначально возникла в XVI веке лишь в Атлантической части Европы. У этой исторической системы, однако, была особая логика, собственный «метаболизм» — накопление богатства путем изъятия прибыли с самых разнообразных торговых, производственных и финансовых операций. Организацию и контроль над товарным оборотом с целью

получения прибыли Валлерстайн и называет капитализмом, точнее, капиталистически организованной мир-экономикой<sup>6</sup>.

В отличие от прежних мироимперий (Рим, Персия, Китай или Россия), которые достигали власти путем завоевания и обложения повинностями и налогами, капитализм оказался намного динамичней в своей способности покупать контроль над всеми факторами власти: военными, политическими, технологическими, людскими и природными ресурсами. Для этого не требовалось единой государственности. Напротив, капиталистические коалиции регулярно создавались для отражения попыток установления единой империи—испанских Габсбургов, Наполеона, Гитлера, поскольку капиталистические дома и корпорации совершенно оправданно опасались, что без возможности международного маневра единая империя их просто подавит и разорит.

Однако для капиталистических операций также требовалось поддержание порядка, поэтому оптимальной оказалась множественность государственных аппаратов, которые для выполнения своих функций должны были, по выражению Макса Вебера, конкурировать за привлечение мобильного космополитичного капитала. Поэтому Валлерстайн сомневается в полезности модного термина «глобализация»: во времена голландских купцов XVII века или Ротшильдов XIX века капитализм был ничуть не менее интернационален.

Глобализации возникали периодически на протяжении прошлых столетий (во времена Великих географических от-

<sup>6</sup> Здесь Валлерстайн непосредственно следует рыночному пониманию капитализма у Фернана Броделя, которое, в свою очередь, созвучно Адаму Смиту—но противоречит марксистскому пониманию капитализма как способа индустриального *производства*.

крытий или британского империализма времен королевы Виктории), когда капитал не находил надежно-выгодного применения и начинались поиски новых рыночных ниш. (И опять, в отличие от марксистов, Валлерстайн не считает империализм высшей стадией, а лишь циклически возникающей стратегией выхода из тупиков исчерпываемых способов накопления капитала.)

Другая стратегия создания новых рыночных ниш предполагала научно-инженерные новации. Отсюда, по Шумпетеру, колоссальный материальный прогресс капиталистической мироэкономики. В целом глобальный успех капитализма обеспечило именно сочетание двух стратегий: колониальной рыночной экспансии в географическом пространстве и качественной технической рационализации операций накопления (здесь, отметим лишь вкратце, общие причины роста профессиональной бюрократии, возникновения современного высшего образования и научной базы, а также военно-промышленных комплексов).

Так Валлерстайн превратился в самого неудобного теоретика. Если он прав, то пересмотру подлежит основная часть корпуса современных представлений о мировой политике и экономике. В своих работах, обратите внимание, он регулярно (но никогда не называя никаких конкретных имен) проясняет, порой и напрочь сносит целые напластования прежних дискуссий; а ведь на них росли чьи-то репутации, делались диссертации и карьеры<sup>7</sup>. В этом, очевидно, кро-

<sup>7</sup> Как-то, поинтересовавшись мнением ИВ об идеях одного модного французского мыслителя, вместо отзыва о личности я получил четкое, связное и при этом явно тут же на месте спонтанно придуманное объяснение основной теории знаменитого француза.

ется главная причина крайне смешанной репутации Валлерстайна в современной западной науке. Размах его теоретических достижений так или иначе признается почти всеми и отмечен множеством почетных званий и наград. При этом сам Валлерстайн никуда не вписывается среди существующих школ. Отсюда настороженное, если не прямо враждебное, отношение с самых разных стотон. Личные качества не могут быть причиной: Валлерстайн безукоризненно порядочный, несколько старомодный и слишком сдержанный интеллигент, который с неизменным терпением и вежливостью отвечает на письма даже совершенно неизвестных людей. При этом ИВ никогда не ввязывается в интриги и полемику с оппонентами.

Многое в его анализе раздражает ортодоксальных марксистов: где ведущая роль пролетариата, где способы производства? Более того, как становится ясно из этой книги, ИВ не считает культурно-идеологическую «надстройку» жестко подчиненной материальному «базису». Для него главный признак и причина системного кризиса — в исчерпании веры в геокультуру либерального реформизма и прогрессивного развития, в утрате согласия на подчинение среди подчиненных групп и стран мира.

Это вполне созвучно знаменитой идее гегемонии у Антонио Грамши, доказывавшего, что голое политико-экономическое господство не может существовать исторически долго без убежденности подчиненных групп и средних слоев

Кстати, теория оказалась дельной. Валлерстайну потребовалось менее пяти минут на изложение того, что во французском оригинале занимало множество страниц сложнейшей прозы. Подмигнув лукаво, ИВ на прощание сымпровизировал афоризм: «Париж — город дискурсивный, а наш Нью-Йорк — город деловой».

в естественности существующего порядка. Подрыв веры в незыблемость системы ведет к сомнениям в самих элитах, к внутренним конфликтам, которые каскадно расширяются, выплескиваются наружу, и провоцирует цепную реакцию.

Прототипом такого кризиса служит траектория нашего советского блока, начиная с 1968 года, когда новые средние слои образованных техников, специалистов и интеллигенции впервые попытались привести политические структуры (унаследованные от террора Гражданской войны и индустриализации) в соответствие с растущим весом этих новых слоев в советской государственно-индустриальной иерархии. К 1989 году, который ИВ считает прямым продолжением восточноевропейского брожения 1968 года, уже большинство элит осознавало безнадежность защиты прежней системы. Дело, однако, на сей раз окончилось коллапсом и фрагментацией системы вместо ее перестройки. Валлерстайн предупреждает постоянно, что положительный выход в некое более светлое будущее никогда не предрешен: в истории как раз более вероятен коллапс. Способов упасть всегда больше, чем способов устоять.

С позитивистским мэйнстримом западной социальной науки, где господствуют изощренные количественные модели, идет молчаливая холодная война или «диалог глухих». С экономикой в особенности дела обстоят так, что большинство экономистов даже никогда не слышало — и им не откуда услышать — о Броделе, Валлерстайне, Джованни Ариги и историко-географическом понятии миро-экономики. Объяснить это легко при помощи категорий Пьера Бурдьё, чья социология, несмотря на кардинальное отличие тематики, языка, и полемической направленности, на глубинном уровне эпистемологических битв вполне созвучна идеям Валлерстайна. Либеральный и универсалистический габит-

тус позитивизма, тем более подкрепленный признанием со стороны поля власти и контролем над центральными институтами интеллектуального поля (университетскими должностями, грантами, главными профессиональными журналами или Нобелевскими премиями по экономике) предполагает игнорирование неудобных вопросов вместо явной репрессии.

Другим способом контроля выступает сомнение в научной достоверности, которая в данном случае понимается крайне узко (сторонники данного подхода сказали бы: строго), как экспериментально-статистическое тестирование по образцу физики (конкретно, термодинамики) и производной от нее неоклассической экономики. Ответ на это обвинение известен давно и наиболее развит в биологии: когда нет возможности поставить эксперимент над живой природой (чему может быть масса обстоятельств: длительность геологической эволюции, практическая невозможность изолировать тестируемую переменную в лабораторно-чистой среде, наконец, этические нормы), то остается путь ретроспективного анализа и сравнительного изучения явления. Иначе говоря, логику системных изменений (возникновения и вымирания видов животных или человеческих обществ) можно понять путем изучения ее исторической динамики и эволюционной траектории. Такого рода ответы на сложности анализа природно возникших систем прекрасно аргументированы в неodarвинизме и экологической антропологии<sup>8</sup>.

<sup>8</sup> Сошлюсь на такие (пока не переведенные) интеллектуальные супербестселлеры, как «Полон дом: распространение совершенства от Платона до Дарвина» ведущего эволюционного биолога Стивена Джея Гулда и «Порох, микробы и сталь» геоэколога Джа-

Несмотря на, казалось бы, политическую близость, ничуть не меньше недопониманий возникает между Валлерстайном и левоинтеллигентскими движениями в академической среде: феминистками, исследователями расовых проблем, критическими теоретиками и постмодернистскими критиками. Ну, совсем разные стили аргументации.

Но хуже того, начиная с 1980-х годов, политическое поле и вся геокультура входят в период сжатия. Исчезает множество интеллектуальных ниш и позиций, связанных ранее с различными социалистическими и национально-освободительными вариантами антисистемных движений. Это непосредственно отражается на резком сужении дебатов и круга допустимой тематики в общественных науках. После потрясений 1960-х и смуты 1970-х годов, западная политическая ортодоксия не просто неожиданно восстала, казалось, из пепла (поглядите заголовки интеллектуальных бестселлеров начала семидесятых: что они обещали капитализму?), но возродилась в формах, не виданных уже много десятилетий. Фактически «рейгановская революция» означала контрреформу, свертывающую наследие «нового курса» Рузвельта путем дерегуляции и изменения бюджетных приоритетов. В свою очередь, эрозия позиций интеллигенции в политическом поле на фоне повсеместных бюджетных кризисов приводит к резкому общемировому обеднению самих материальных основ науки и высшего образования. Одновременно повсеместно наблюдается взрывной рост школ бизнеса, права и прикладной инфор-

реда Даймонда (Stephen Jay Gould, *Full House. The Spread of Excellence from Plato to Darwin*. New York: Three Rivers Press, 1996; Jared Diamond, *Guns, Germs and Steel*. New York: Norton, 1997).

матики — видов образования, функционально связанных с неолиберальной глобализацией.

В 1990-е годы Валлерстайн фактически во второй раз оказался в ссылке, теперь внутренней. Он, конечно, занимает почетный пост в Йельском университете и продолжает широко публиковаться, однако в 1990-е годы миросистемный анализ воспринимался как что-то из совсем другой эпохи, совершенно не созвучное новым временам. Особым диссонансом тогда звучали (нередко высмеиваемые) прогнозы кризиса американской гегемонии в миросистеме. Интеллектуальный климат сменился неожиданно и почти так же резко, как переживался у нас конец эпохи перестройки и исчезновение ее интеллигентских кумиров. Валлерстайн, однако, продолжал работать спокойно и на зависть продуктивно, как работал всегда.

Выход в 1995 году его новой книги с совершенно неконформистским заголовком «После либерализма» воспринимался как стариновское упрямство. Однако это было начало нового, третьего, этапа в интеллектуальной траектории ИВ. Он теперь перешел от исторической политэкономии миросистемы к эпистемологии и занялся исследованием и критикой структур самого знания. Резко неблагоприятный для ИВ климат эпохи, казалось, лишь задавал полезный раздражитель. Ох, мне тогда со всех сторон доставалось тумачков, как слоненку из сказки Киплинга. Учитель же оставался воплощением невозмутимого рационализма. Может, он и в самом деле видел далее нас всех? Судите сами.

Положение дел в социальной науке сегодня вполне может оказаться подобным классическому примеру из «Структуры научных революций» Томаса Куна. В этом случае гос-

подствующий на сегодня мейнстрим западной экономики и политологии (ныне без своих советских контрапартнеров) окажется сродни птолемеевской астрономии накануне появления коперниканской гелиоцентричной теории Солнечной системы.

Учтите, древняя астрономия и ее прикладная поддисциплина — астрология так же были по-своему весьма совершенны, математизированы по высшему уровню эпохи, опирались на многовековые эмпирические данные и, главное, соответствовали официальной политической доктрине своего времени. Более того, как сегодня правительства всех государств считают необходимым содержать впечатляющий штат экономических экспертов и прикладных политологов, так и большинство правителей прошлого от Японии и Китая до исламского халифата и христианского Запада (а также в государствах майя и ацтеков) пользовались прогностическими услугами астрологов. Это была подлинно глобальная профессия. В ее основе был лишь один изъян — допущение наличия причинно-следственной связи между движением небесных тел и делами людскими. Притом, подчеркну, многое в аналитическом аппарате уже вполне соответствовало научным критериям.

Коперниканская гелиоцентричная теория не явилась со стороны, а выросла из той же птолемеевской традиции. Сам Николай Коперник, кстати, сделал не так и много — просто предложил сменить перспективу. Преимущество нового системного взгляда было, напомним, в том, что снимались замысловатые эпициклы и тогда элегантно просто объяснялось наблюдаемое движение планет. (Хотя место человечества у Коперника оказалось несколько периферийным.)

Пока в самом деле трудно судить, совершается ли в наши дни аналогичный гелиоцентрическому переворот в социаль-

ной науке. Наверное, Рэндалл Коллинз прав: значение ученых и их открытий становится ясно только из направления работ следующих поколений. Кстати, в реальной истории науки для завершения коперниканского переворота потребовались еще и эмпирические наблюдения Кеплера, и скандальный процесс над Галилеем, и формализация теории Ньютоном, и еще работа многих поколений, чтобы новые представления стали азбучной истиной. Это был длительный, интернациональный и, конечно, нелинейный процесс.

Валлерстайн предложил новую зрительную перспективу, карту, и концептуальную оптику, которые неожиданно многое проясняют в картине власти и иерархического устройства мира. Такая оптика, похоже, особенно подходит для посткоммунистической Восточной Европы. Мы лишились многих иллюзий, дорогой ценой приобрели опыт и все-таки вышли в широкий мир. Притом пока не утратили интеллектуальный потенциал, хотя с 1970-х сильно сдали интеллектуальные позиции. Но это восстановимо. Есть много признаков того, что после наката ортодоксальной капиталистической идеологии («последней великой утопии XX века», по словам Эрика Хобсбаума), начинается какая-то новая фаза в эволюции политических и интеллектуальных полей. Мы уже точно не в девяностых годах, хотя горизонт остается смутным. Похоже, пришло время напрямую познакомиться с самым неудобным из альтернативных теоретиков.

ИММАНУИЛ ВАЛЛЕРСТАЙН

МИРОСИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ:  
ВВЕДЕНИЕ

## СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ<sup>1</sup>

Уже согласившись писать эту книгу, я вдруг получил приглашение прочитать недельный летний курс лекций по миросистемному анализу в Международном Университете Менендеса Пелайо в Сантандере, Испания (Universidad Internacional Menéndez Pelayo in Santander, Spain). Курс состоял из пяти лекций. Слушателями стали аспиранты и молодые преподаватели из разных испанских университетов, которые по большей части были мало знакомы с миросистемным анализом. Собралось человек сорок. Так у меня появилась возможность опробовать первоначальный вариант всех пяти глав, и книга во многом выиграла от того, что я учел их замечания. Я им благодарен.

Написав черновик книги, я попросил четырех друзей прочитать ее и высказать свое мнение. Я очень уважаю этих людей как читателей, а также ценю их преподавательский опыт. Но с миросистемным анализом они были знакомы в разной степени, поэтому и реакции на книгу я рассчитывал получить разные. Так и вышло. Как обычно бывает, такого рода проверки помогли мне избежать многих нелепостей и неясностей. Я прислушался к мудрым советам друзей, но тем не менее написал книгу по-своему — так, чтобы она была мак-

<sup>1</sup> Текст книги печатается по изданию: Immanuel Wallerstein. *World-systems Analysis An Introduction* (Durham and London: Duke University Press, 2004).

симально полезной, и я освобождаю моих читателей от ответственности, поскольку оставил без внимания ряд их соображений. И все же книга стала лучше благодаря тому, что ее в свое время внимательно прочли Кай Эриксон (Kai Erikson), Волтер Голдфранк (Walter Goldfrank), Чарльз Лемерт (Charles Lemert) и Питер Тейлор (Peter Taylor).

## ДЛЯ НАЧАЛА: КАК ПОНИМАТЬ МИР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ

Популярная пресса, да и сами ученые постоянно твердят о том, что, начиная с последних десятилетий XX века, в нашем мире господствуют две реалии: глобализация и терроризм. Обе реалии преподносятся нам как явления по существу новые: первая несет великую надежду, вторая — ужасную опасность. Создается впечатление, что правительство США играет ведущую роль в продвижении первой и в борьбе со второй. Хотя, разумеется, это феномены не только американского, но мирового масштаба. Большинство исследователей руководствуются высказыванием Маргарет Тэтчер (Thatcher), которая была премьер-министром Великобритании с 1979 по 1990 год. Она когда-то сказала: всем ныне заправляет некая ТИНА (TINA — There Is No Alternative — альтернативы нет). Нам повторяют, что альтернативы глобализации не существует и что все государства должны смириться с ее крайностями. А еще нам говорят, что, если мы хотим выжить, у нас нет другого пути, кроме как безжалостно подавлять терроризм во всех его облициях.

Такой взгляд дает нам хотя и достаточно верную, но отнюдь не полную картину. Если мы будем рассматривать глобализацию и терроризм как феномены, ограниченные во времени и пространстве, мы можем прийти к выводам столь же эфе-

мерным, как те, к которым приходят газеты. В общем и целом, нам не удастся понять значения этих явлений, истоков их происхождения, путей развития и, что самое главное, их места внутри более крупных конструкций. Нам свойственно не обращать внимания на историю. Мы часто не можем собрать звенья воедино, а потом удивляемся, что не сбываются наши предсказания.

Многие ли могли представить себе в 1980-е годы, что Советский Союз рухнет так быстро и бескровно, как это произошло? А кто мог предположить в 2001 году, что лидер движения, о котором вообще мало кто слышал, — лидер Аль-Кайеды сможет совершить столь дерзкое нападение на башни-близнецы в Нью-Йорке и Пентагон 11 сентября и нанести такой урон? И все же если рассматривать более длительный период, то оба события вписываются в общую картину, отдельных деталей которой мы могли и не знать, но в общих чертах предвидеть могли.

Часть проблемы заключается в том, что мы изучали эти явления, разложив их по отдельным ящичкам и присвоив им особые названия: политика, экономика, социальная структура, культура, не осознавая, что эти ящички существуют по большей части в нашем воображении, а не в реальной жизни. Явления, которые мы в них находим, настолько переплетены, что одно обязательно предполагает другое, одно влияет на другое, и любое явление невозможно понять, не принимая во внимание содержимое других ящиков. Другая часть проблемы кроется в том, что, анализируя, что есть «новое», а что нет, мы часто забываем о трех важных поворотных моментах современной миросистемы: 1) долгий XVI век, когда появилась современная миросистема в качестве капиталистической мирозкономики; 2) Великая французская революция 1789 года — событие мирового масштаба, определившее

господствующую геокультуру этой миросистемы на два последующие столетия, геокультуру центристского либерализма; и 3) мировая революция 1968 года, ставшая предвестником последней длительной фазы существования современной миросистемы, в которой мы живем сегодня и которая подорвала центристско-либеральную геокультуру, связывавшую мир.

Сторонники миросистемного анализа, о котором эта книга, говорили о глобализации задолго до того, как было изобретено само слово, и вовсе не как о чем-то новом, а как об основополагающем явлении современной миросистемы со времени ее возникновения в XVI веке. Мы доказывали, что отдельные ящички, внутри которых ведутся исследования (в университетах их называют дисциплинами), только препятствуют, а не способствуют пониманию мира. Мы настаивали на том, что социальная действительность, в которой мы живем и которая определяет наш выбор, не ограничена многочисленными национальными государствами, гражданами которых мы являемся, но представляет собой нечто большее — то, что мы называем миросистемой. Мы говорили, что у миросистемы множество институтов — государства и межгосударственные структуры, производственные фирмы, домохозяйства, классы, всевозможные группы и объединения — и именно эти институты формируют основу, которая позволяет системе функционировать, но в то же время питает пронизывающие ее конфликты и противоречия. Мы доказывали, что эта система является общественной формацией со своей историей, и нам нужно объяснить ее истоки, обрисовать работу всех механизмов и в конце суметь разглядеть неминуемый кризис.

Наши высказывания шли вразрез не только с официальной мудростью власть предержащих, но и с основами традиционного знания, которые закладывались обществоведами

на протяжении двух веков. Именно поэтому так важно по-новому взглянуть не только на то, как функционирует мир, в котором мы живем, но и на то, как мы этот мир воспринимаем. Поэтому приверженцы миросистемного анализа активно протестуют против привычных объяснений мира, против того, что мы думаем, что знаем о мире. Но мы также верим, что наш вариант анализа является отражением, или проявлением, реального протеста против сильной неравномерности нашей миросистемы, основного политического вопроса нашего времени.

Я сам занимаюсь миросистемным анализом и пишу о нем вот уже более тридцати лет. Он помогал мне описывать историю и устройство современной миросистемы. Я использовал его, изучая структуры познания. Я обращался к нему как к методу или точке зрения. Но еще никогда я не пытался собрать воедино все, что я понимаю под «миросистемным анализом».

По прошествии тридцати лет работа, которая ведется под этим заголовком, почти никого не удивляет, а сторонников миросистемного анализа можно найти по всему миру. Тем не менее в мире исторической социальной науки этих взглядов все еще придерживается меньшинство, оппозиционное меньшинство. Миросистемный анализ хвалят, на него нападают, часто искажают и извращают, иногда это делают враждебно настроенные и плохо осведомленные критики, но порой — люди, считающие себя сторонниками или по крайней мере сочувствующими. И я подумал, что хорошо было бы объяснить все в одном месте, собрать воедино все постулаты и принципы и дать цельный взгляд на теорию, которая претендует на создание единой исторической социальной науки.

Книга адресована сразу трем группам читателей. Во-первых, я писал ее для самого широкого круга — для людей, ко-

которые никогда специально не изучали миросистемный анализ. Это может быть начинающий студент университета или вообще любой человек. Во-вторых, книга написана для специализирующихся в исторической социологии аспирантов, которые желают получить серьезное разъяснение вопросов и проблем, которые им встречаются в связи с миросистемным анализом. И, наконец, я писал эту книгу для опытных специалистов, которым интересно знать именно мою точку зрения в молодом, но растущем сообществе ученых.

Многим читателям может показаться, что я начал повествование окольным путем. Первая глава посвящена рассуждению о структурах знания в современной миросистеме. Это попытка объяснить исторические корни нашего варианта анализа. И только во второй, третьей и четвертой главе мы говорим непосредственно об устройстве современной миросистемы. Пятая, последняя, глава посвящена тому, что нас ждет в будущем, а соответственно, и современным реалиям. Некоторые читатели предпочтут сразу же перескочить к пятой главе, сделать последнюю главу первой. Но если я расположил доводы таким образом, то только потому, что я искренне верю, что читатель (даже молодой или начинающий читатель) должен переосмыслить многое из того, чему его или ее учили в школе и что каждый день твердят нам средства массовой информации, иначе миросистемный анализ не понять. Только ясно осознав, как получилось, что мы сейчас думаем именно так, как думаем, мы сможем освободиться от стереотипов и начать мыслить по-другому, и это, я уверен, позволит нам анализировать современные проблемы более основательно и успешно.

Разные люди читают книги по-разному, и я полагаю, что каждая из трех групп читателей, для которых я писал эту книгу, прочтет ее по-своему. Я могу лишь надеяться, что она

будет полезна каждой группе, каждому отдельному читателю. Это *введение* в миросистемный анализ. И эта книга не претендует на полноту. Я попытался осветить весь спектр вопросов, но, несомненно, некоторые читатели обнаружат, что что-то я упустил, а что-то, наоборот, чересчур выделил, и уж, конечно, какие-то из моих доводов покажутся просто неправильными. Эта книга — введение в образ мыслей, и поэтому я приглашаю всех вступать в открытое обсуждение, в котором, я надеюсь, примут участие все три группы читателей.

# МИРОСИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ

## 1. Истоки миросистемного анализа

*От обществоведческих дисциплин  
к исторической социальной науке*

Миросистемный анализ возник в начале 1970-х годов как новый взгляд на социальную действительность. Некоторые из его идей были в ходу уже долгое время, но какие-то появились только тогда или по крайней мере были по-новому обозначены. Идеи можно понять лишь в контексте своего времени. И это в большей степени относится к целостным картинам мира, когда идеи, основываясь прежде всего одна на другой, приобретают смысл только в совокупности. К тому же новые взгляды на мир понять гораздо проще, если воспринимать их как протест против старых. Новый взгляд всегда утверждает, что старый, как правило общепринятый, взгляд на мир не соответствует каким-то важным параметрам, что он обманчив или предвзят и поэтому является скорее препятствием для понимания социальной действительности, нежели орудием для ее анализа.

Как и любая другая система взглядов, миросистемный анализ появился на основе более ранних доказательств и суждений. Практически ни одна картина мира не может претендовать на то, чтобы быть совершенно новой. Как правило, несколько десятилетий или веков назад кто-то уже говорил

нечто подобное. Поэтому, когда мы говорим о новой системе взглядов, мы имеем в виду, что мир впервые готов всерьез воспринять ее идеи, а возможно, и то, что эти идеи поданы в наиболее достоверном и доступном для большинства людей виде.

История возникновения миросистемного анализа неотделима от истории современной миросистемы и ее структур знания, которые развивались как часть этой системы. Поэтому очень полезно начать наш рассказ не с 1970-х годов, а с середины XVIII века. К тому времени капиталистическая мировая экономика существовала вот уже два века. Необходимость вечного накопления капитала подстегивала постоянные технологические изменения и постоянное расширение горизонтов — географических, психологических, интеллектуальных и научных.

В этой связи возникла насущная потребность понять, как мы осознаем мир, и подумать над тем, как мы можем его осознавать. Тысячу лет религиозные власти утверждали, что только у них есть верный способ познания истины, но некоторое время назад им был брошен вызов. Светские, то есть нерелигиозные, альтернативы общество воспринимало все лучше. Философы, посвятившие себя этой задаче, настаивали на том, что человек может получать знания, используя свой собственный ум, вместо того, чтобы полагаться лишь на готовую истину, которую преподносили им служители церкви и Писание. Философы Декарт (Descartes) и Спиноза (Spinoza), как бы они не отличались друг от друга, оба стремились перевести теологию в частную плоскость, отделить ее от основных структур знания.

Пока философы боролись с диктатом теологов, заявляя, что люди вполне могут распознать правду при помощи своих собственных мыслительных способностей, все больше уче-

ных хотя и соглашались с ролью теологов, но склонялись к тому, что так называемое философское понимание было таким же произвольным источником правды, как и божественное откровение. Эти ученые отдавали предпочтение *эмпирическому* анализу реальности. Когда в начале XIX века Лаплас (Laplace) написал книгу о происхождении Солнечной системы, Наполеон, которому он эту книгу преподнес, заметил, что Лаплас ни разу не упомянул Бога в своей толстой книжке. Лаплас ответил: «Мне нет нужды в этой гипотезе, сир». Сейчас сказали бы, что ученый применяет научный подход. Все же не стоит забывать, что по крайней мере до конца XVIII века не было четкой границы между наукой и философией. В то время Иммануилу Канту (Immanuel Kant) казалось абсолютно нормальным читать лекции по астрономии и поэзии, а также по метафизике. А еще он написал книгу по межгосударственным отношениям. Знание было все еще единым пространством.

Примерно в это время, в конце XVIII века, произошло событие, которое некоторые теперь называют «разводом» науки с философией. Настаивали на разводе именно приверженцы *эмпирической* «науки». Они говорили, что *единственный* путь к «правде» лежит через теорию, полученную в результате практических наблюдений, и что наблюдения необходимо проводить в таких условиях, чтобы другие могли их впоследствии повторить и тем самым подтвердить. Они настаивали на том, что метафизические умозаключения были лишь спекуляцией и не имели с «истиной» ничего общего. Таким образом, они отказывались признавать себя «философами».

Примерно в это же время и во многом благодаря этому самому разводу родился современный университет. Возникнув на основе средневекового университета, современный университет представляет собой совершенно иную структуру.

В отличие от средневекового университета профессора современного работают на полную ставку, получают зарплату, среди них почти нет духовных лиц, их объединяют не только факультеты, но и отделения или кафедры внутри факультетов, каждое отделение отвечает за свою «дисциплину». Студенты слушают учебные курсы и затем получают степени, которые определяются отделением, на котором они учились.

В средневековом университете было четыре факультета: теологии, медицины, права и философии. В XIX веке почти повсеместно факультет философии разделился на два — факультет «естественных наук» и факультет, посвященный изучению других предметов: иногда его называли факультетом «гуманистики», иногда — факультетом «искусств» или «словесности» (порой того и другого вместе). Случалось, что за вторым факультетом сохранялось старое название — «факультет философии». Университет закрепил то, что Ч. П. Сноу (C. P. Snow) позже назовет «двумя культурами». Эти две культуры воевали друг с другом, и каждая настаивала на том, что именно ее методы единственно правильные или по крайней мере лучшие, для того чтобы получить знание. Приверженцы естественных наук придавали особое значение эмпирическим (даже экспериментальным) исследованиям и проверкам гипотез. Гуманитарии полагались на интуитивное проникновение в суть вещей, позже этот метод называли интерпретационным пониманием. Единственное, что нам осталось в наследство от их бывшего единства — это высшая научная степень, которую университеты присуждают во всех дисциплинах: доктор философии (PhD).

Естественные науки отрицали, что гуманистика способна найти истину. В ранний период существования единого знания поиски истинного, доброго и прекрасного были крепко переплетены или даже связаны воедино. Но теперь ученые

естественного направления не хотели иметь ничего общего с поисками доброго или прекрасного — им нужна была только истина. Они оставили поиски доброго и прекрасного философам. И многие философы согласились с таким разделением труда. Таким образом, разделение знания создало серьезную преграду между поисками истины и поисками доброго и прекрасного. Позже это служило оправданием нейтралитета естественных наук по отношению к моральным ценностям.

В XIX веке произошло разделение факультетов естественных наук на множество отдельных отраслей, названных дисциплинами: так появились физика, химия, геология, астрономия, зоология, математика и другие науки. Гуманистика, в свою очередь, разделилась на философию, классические языки (то есть древнегреческий и латынь, сюда же отнесли произведения античных авторов), историю, искусства, музыковедение, национальные языки и литературу, а также литературу других лингвистических групп.

Самым сложным оказалось определить место науки о социальной действительности. После культурных потрясений, вызванных Великой французской революцией 1789 года, стало ясно, что такие исследования необходимы. Эта революция распространила две довольно революционные идеи. Первая заключалась в том, что политические перемены не являются чем-то исключительным или ненормальным, а скорее представляют собой процесс естественный и потому постоянный. Согласно второй идее «суверенитет» — право государства принимать самостоятельные решения в пределах сферы своего влияния — принадлежит во все не монарху или законодателям, а «народу», и только он может узаконить власть.

Обе идеи прижились и их перенимали повсеместно, даже несмотря на то, что в политическом смысле Французская ре-

волюция дала задний ход. Если теперь политические перемены считались чем-то само собой разумеющимся, а источником суверенитета был народ, возникала необходимость понять, как можно объяснить природу и течение этих перемен, каким образом «народ» приходит или может прийти к решениям, которые ему приписывают. Таковы социальные истоки возникновения дисциплин, которые позже назвали общественными науками.

Но что такое «общественные науки»? Какое место они занимали в новой войне «двух культур»? На эти вопросы ответить нелегко. Некоторые могут даже утверждать, что никто никогда не давал исчерпывающего ответа на эти вопросы. Сначала казалось, что общественные науки расположились посередине — между чистыми науками и гуманитарными. Посередине, но им там было отнюдь не комфортно. Обществоведы не выработали третьего пути познания, вместо этого они разделились между уже существующими: одни применяли научный или сциентистский подход к общественным наукам, другие склонялись к гуманитарным методам. Казалось, что общественные науки раздирают две лошади, рвущиеся в разные стороны.

Старейшей из всех общественных наук, конечно, является история: тысячелетиями люди изучают свою историю, и название тоже придумали давным-давно. В XIX веке в историографии произошла «революция», которую связывают с именем Леопольда фон Ранке: он выдвинул принцип, в соответствии с которым историю следовало описывать *wie es eigentlich gewesen ist* (как было на самом деле). Он протестовал против того, что делали все историки, а они восхваляли и идеализировали монархов и целые страны, рассказывая сказки и даже сочиняя их. Фон Ранке предложил сделать историю более научной, исключив спекуляции и басни.

Фон Ранке разработал свою методику для описания истории. Он считал, что лучше всего историю изучать по документам, составленным в одно время с событиями, которые они описывали. В конце концов все такие документы будут храниться в одном месте, мы сейчас называем его архивом. Изучая архивные документы, историки нового толка пытались доказать, что участники событий писали не для ученых будущего, а то, о чем действительно думали в тот момент, или по крайней мере то, во что (так им хотелось) поверили бы другие. Конечно, историки признавали, что к таким документам нужно относиться с осторожностью, проверить, не подделка ли это, но после подтверждения подлинности считалось, что эти документы свободны от предвзятости, что было свойственно произведениям более поздних авторов. Чтобы история стала максимально объективной, историки отказались описывать события «настоящего», оставляя за собой лишь «прошлое», поскольку описание настоящего всегда несет отпечаток страстей своего времени. В любом случае архивы, подконтрольные политическим властям, обычно «открываются» для историков только по прошествии довольно долгого периода времени — от пятидесяти до ста лет, так что у ученых все равно нет доступа к важным документам настоящего. (В конце XX века многие правительства под давлением политической оппозиции открыли архивы намного раньше. И хотя такая открытость имела свои результаты, правительства доказали, что у них есть и другие способы хранить свои тайны.)

И все же, несмотря на склонность к «научным» методам, новые историки не нашли себе места на научных факультетах, а примкнули к гуманитариям. Это может показаться странным, поскольку историки отказывались принимать философов с их умозрительными суждениями. К тому же

историки были эмпириками и, казалось бы, уже поэтому должны были бы питать нежность к естественным наукам. Но, будучи эмпириками, они все же с большой опаской относились к обобщениям, не стремились выводить научные законы и даже гипотезы формулировали крайне редко, придерживаясь мнения, что каждое «событие» нужно рассматривать отдельно, в контексте его собственной истории. Они доказывали, что присутствие человеческой воли делает невозможным сравнение социальной жизни и физических явлений как предметов исследования. Историки основной упор делали на то, что мы теперь называем человеческим фактором, и именно это определило место истории среди гуманитарных наук.

Но на какие события историкам стоило обращать внимание? Историкам нужно было определиться с предметом исследований. Что можно изучать, если, даже решив опираться на документы из архивов, историки не могли считать их объективными, поскольку эти документы по большей части составляли люди, связанные с политическими структурами: дипломаты, гражданские чиновники, политические лидеры. Такие документы практически не касались явлений, не связанных с политической или дипломатической жизнью. Более того, такой подход предполагал, что историк может изучать только сферы, описанные в таких источниках. В реальной жизни историки XIX века предпочитали заниматься, во-первых, историей своей страны, а во-вторых, историей так называемых «исторических наций», то есть стран, история которых была хорошо документирована.

А в каких странах эти историки жили? Подавляющее их большинство (наверное, процентов 95) были выходцами из пяти регионов: Франции, Великобритании, Соединенных Штатов и территорий, позже сформировавших Германию

и Италию. Так что вполне естественно, что первым делом стали изучать и преподавать историю этих пяти регионов. Дальше возник следующий вопрос: что считать историей такой страны, как Франция или Германия? Какие географические границы и временные рамки выбрать? Многие решили проследживать историю как можно дальше в глубь веков, в границах современного им государства и даже на территории, на которую их государство претендовало. Соответственно, под историей Франции понималось все, что когда-либо происходило в пределах границ Франции XIX века. Такое изучение истории было, конечно, довольно условно, но зато служило определенной цели — укрепляло националистические настроения, и поэтому такие начинания снижали поддержку государства.

И все же историки решили ограничиться изучением прошлого, а следовательно, они мало что могли сказать о проблемах, с которыми сталкивались их государства. Политическим же лидерам нужно было больше информации о настоящем. В ответ на эту потребность появились новые науки, основными стали три: экономика, политология и социология. Но почему для изучения настоящего понадобилось три дисциплины, а для прошлого хватило и одной? Произошло это потому, что согласно наиболее влиятельной в XIX веке идеологии либерализма характерной чертой современной эпохи считалось деление на три социальные сферы: рынок, государство и гражданское общество. Существовало предположение, что эти три сферы живут по разным законам и хорошо бы их не смешивать. Поэтому и изучать их следовало по-разному, следовало выработать методы, подходящие каждой сфере. Так, рынок стали исследовать экономисты, государство — политологи, а гражданское общество — социологи.

И снова возник вопрос: как получить «объективное» знание обо всех этих сферах? Однако здесь был найден другой ответ, отличный от того, к чему пришли историки. Ученые пришли к выводу, что и рынок, и государство, и гражданское общество живут по определенным законам, которые можно вывести путем эмпирического анализа и индуктивного обобщения. То есть они смотрели на предмет изучения точно так же, как ученые естественного направления. Эти три дисциплины называли номотетическими (эти дисциплины стремились установить общее, вывести научные законы) в отличие от истории, дисциплины идиографической, базирующейся на уникальности социальных явлений.

И опять встал вопрос: где следует изучать социальные явления? Социологи-номотеты жили в основном в тех же пяти странах, что и историки, и, как историки, изучали они главным образом свои страны (в лучшем случае занимались сравнением этих пяти стран). Конечно, они были социально вознаграждены за это, но тем не менее сумели и методологически аргументировать свой выбор. Социологи объясняли, что избежать предвзятости можно, используя количественные данные, а такая информация имелаась на тот период только в их родных странах. Более того, эти ученые считали, что если признается наличие общих законов, управляющих социальным поведением, то все равно где проводить исследования: если закон работает в одном месте в одно время, значит, его можно применить в любом месте и в любое время. Почему бы тогда не изучать явления, подтвержденные самыми надежными данными, то есть данными измеримыми и воспроизводимыми?

Но на этом проблемы социологов не закончились. Четыре дисциплины вместе взятые (история, экономика, социология и политология) изучали, по сути, только малень-

кую часть мира. А в XIX веке пять стран, о которых мы здесь говорим, стали распространять свое влияние и на другие части света, обзаводились там колониями, торговали и порой воевали. Стало понятно, что очень важно изучать и остальной мир. Но остальной мир казался совершенно иным, его трудно было назвать «современным», и четыре основные дисциплины, созданные для изучения Запада, для него не подходили. В результате родились еще две науки.

Одну из них называли антропологией. Первые антропологи стали изучать народы, жившие в колониях или на территориях, на которые их государства имели влияние. В своих исследованиях они исходили из того, что народы, населявшие заморские территории, не пользовались современными технологиями, не имели собственной письменности, а их религиозные верования бытовали только в их узком кругу. Такие сообщества называли «племенами», к ним относили небольшие по численности и по ареалу расселения группы с общими обычаями, одним языком, а иногда и со сходной политической структурой. Так, в языке людей XIX века появился термин «примитивные» народы.

Очень важно было то, что эти народы находились под юрисдикцией современных государств, гарантировавшей антропологам безопасность и легкий доступ к предмету исследований. Существовали большие культурные различия между «примитивными» народами и народами, к которым принадлежали сами антропологи, поэтому основным методом исследования стало так называемое «включенное наблюдение»: ученые жили в племенах, постепенно изучали язык и получали представление о повседневной жизни туземцев. Часто они прибегали к помощи посредников, которые служили им переводчиками и в лингвистическом, и в культурном смысле. Такой метод изучения народов называли этногра-

фией; в отличие от привычных библиотечных и архивных изысканий этнография получала свои данные в процессе полевых исследований.

Существовало допущение, что у «примитивных» народов не было своей «истории», а появилась она только тогда, когда к власти пришли современные чужестранцы, возник культурный контакт, повлекший неминуемые культурные перемены. А это означало, что этнографам нужно было восстановить картину жизни местного населения до культурного контакта, что обычно было не так давно, и, восстановив ее, считали, что так и было с незапамятных времен и до прихода колонистов. Этнографы выступали первыми переводчиками и толкователями своих племен, они могли вразумительно объяснить логику поведения местных племен языком, понятным колониальным чиновникам. Колониальная администрация очень ценила эту информацию: благодаря знаниям этнографов новые правители получали представление о том, что им можно делать, что не стоит, а чего вообще делать нельзя.

Между тем мир состоял не только из современных государств и так называемых «примитивных» народов. Помимо них существовали еще великие, или как их называли в XIX веке, «высокие» цивилизации — к примеру, Китай, Индия, Персия, Арабский мир. У них было много общего: во-первых, своя письменность, затем — основной язык, который эта письменность закрепляла, и, наконец, единственная главная доминирующая религия, причем никто из них не исповедовал христианство. Объяснить наличие этих общих черт, конечно же, чрезвычайно просто. Все великие цивилизации в прошлом, а некоторые даже в настоящем, были бюрократическими мироимпериями: они охватывали огромные территории, и поэтому им пришлось выработать общий язык,

общую религию и во многом общие обычаи. Именно благодаря этим характеристикам их и стали называть «высокими цивилизациями».

В XIX веке появилась еще одна общая черта. Все великие цивилизации стали уступать панъевропейскому миру в техническом и военном смысле. Поэтому европейцы сочли и их «несовременными». Однако назвать жителей империй «примитивными» даже по европейским стандартам было нельзя. Возникал вопрос: как же их изучать и что именно о них нужно знать? Их культура очень отличалась от европейской, их тексты были написаны на языках, незнакомых европейским исследователям, а религия не была похожа на христианство, и стало ясно, что понять эти народы может только тот, кто сначала долго и терпеливо будет их изучать. При расшифровке восточных текстов особенно пригодились навыки филологов. Эти ученые стали называть себя ориенталистами или востоковедами: название подсказало классическое деление на Запад — Восток, существовавшее в европейской интеллектуальной традиции задолго до того.

Что же изучали востоковеды? С одной стороны, можно сказать, что они занимались этнографией, то есть описывали уклад жизни других народов. Но их этнография основывалась не на полевых исследованиях, а по большей части на чтении текстов. Востоковедам нужно было доказать, что великие цивилизации Востока не были «современными», что было нечто в их сложной культуре, что тормозило, «замораживало» их историю и делало невозможным движение вперед, к «современности»; им нужно было найти то, что не давало Востоку повторить путь христианского Запада. Отсюда, естественно, вытекала готовность европейского мира оказать всю необходимую помощь и поддержку отстающим странам на пути к современности.

Была у антропологов-этнографов, изучавших примитивные народы, и у востоковедов, изучавших великие цивилизации, одна общая эпистемологическая черта: они всегда говорили об уникальности своего племени или народа, противопоставляя его остальному миру. Поэтому в полемике идиографии и номотетики они приняли сторону идиографии, считая себя скорее гуманитариями-герменевтами, нежели приверженцами чистой науки.

В XIX веке один за другим университеты в разных странах воспринимали принцип деления на дисциплины, создавая у себя отделения и кафедры. Структуры знания постепенно обретали форму, и происходило это именно в университетах. Но работы в рамках университета ученым показалось мало. Чтобы укрепить положение своих дисциплин они принялись создавать дополнительные структуры: издавали журналы по своему предмету, учреждали национальные и международные ассоциации. Они даже создали отделы в библиотеках, куда собирали книги, более или менее относящиеся к их предмету. К 1914 году структура была готова, и она продолжала существовать и развиваться вплоть до 1945 года, а во многих своих проявлениях и до 1960-х годов.

В 1945 году мир очень сильно изменился, что вызвало серьезные перемены и в общественных науках. Что же тогда произошло? Во-первых, бесспорным лидером миросистемы стали Соединенные Штаты Америки, и их университетская система стала доминировать во всем мире. Во-вторых, страны так называемого третьего мира превратились в сосредоточие политической нестабильности и взяли курс на геополитическое самоопределение. И в-третьих, благодаря удачному сочетанию экономически растущей мироэкономики и усиливающихся демократических тенденций стала быстро развиваться всемирная университетская сис-

тема: стало больше факультетов, студентов, университетов. Такие изменения разрушили стройную систему знания, которую ученые выстраивали на протяжении последних 100, а то и 150 лет.

Прежде всего давайте посмотрим, как гегемония США и самоопределение стран третьего мира повлияли на общественные науки. Если помните, историки, экономисты, социологи и политологи изучали исключительно Запад, а антропологи и востоковеды — все остальное. Такое разделение труда никак не устраивало американских политиков. Им нужны были ученые, которые могли, например, объяснить причины успехов китайской коммунистической партии, а вовсе не те, кто был в состоянии расшифровать даосские тексты; нужны были люди, способные оценить силу националистических движений в Африке или уровень роста рабочей силы в городах, а не те, кто все знал о родственных отношениях народов Банту. И оказалось, что американскому правительству не нужны ни востоковеды, ни этнографы.

Но, чтобы справиться с этой проблемой, историков, экономистов, социологов и политологов решили обучить тому, что происходит в других частях света. Это было чисто американское изобретение, получившее название «страноведение», и оно сильно повлияло на университетскую систему не только в США, но и во всем мире. Но сперва предстояло примирить науки, идиографические по своей сути, изучавшие географию и культуру, с номотетическими подходами экономистов, социологов, политологов и к тому времени многих историков. И выход был найден, причем весьма остроумный — появилась концепция «развития».

Термин «развитие» стали использовать только после 1945 года, хотя вся концепция основывалась на теории стадий, которая тогда была уже широко известна. Приверженцы

этой концепции полагали, что отдельные единицы, в данном случае «национальные государства», в общем и целом развиваются одинаково (это положение отвечало требованиям номотетики), но с разной скоростью (а это объясняло, почему в данный момент страны находятся на разных стадиях развития). Ловко придумано! Теперь можно было изобретать любые теории, объясняющие то, что происходит в других, не-западных, странах, утверждая при этом, что в конечном итоге все равно все государства будут более или менее одинаковыми. Такой трюк имел и практическую сторону. Наиболее развитая страна была примером для менее развитых, подстегивая отстающих следовать ее путем, в конце тоннеля она обещала лучшую жизнь и более либеральный режим (это называлось «политическим развитием»).

Естественно, что для Соединенных Штатов такой механизм был крайне выгоден, поэтому и правительство, и различные фонды поддерживали развитие страноведения в больших и малых университетах. Не забывайте, что в это время уже началась холодная война с Советским Союзом. А СССР мог легко определить, что для него выгодно. Поэтому советские ученые моментально восприняли теорию стадий развития, конечно же, изменив при этом терминологию, но не суть модели. Одно серьезное изменение им все же сделать пришлось: в советской версии идеальным государством, примером для всех остальных был Советский Союз, а не Соединенные Штаты Америки.

Итак, роль страноведения росла, росло и число университетов. А теперь давайте посмотрим, что же из этого вышло. Все больше студентов хотело получить степень PhD. Казалось бы, само по себе дело хорошее, но нельзя забывать, что каждая докторская диссертация должна внести свой оригинальный вклад в науку, и поэтому каждая новая диссертация

ция все больше осложняла поиски темы для последующих соискателей. Считалось, что оригинальность нужно искать внутри своей дисциплины, поэтому такие трудности породили академическое браконьерство. В поисках чего-то особенного многие стали обращаться к предметам других специальностей, что размыло границы между дисциплинами и окончательно перемешало их. Так в академических кругах появились *политические* социологи и *социальные* историки, а также множество других новых комбинаций, которые раньше и представить было нельзя.

Изменения в реальном мире повлияли на положение научных дисциплин. Теперь на ученых, которые занимались не-западным миром, стали смотреть с политическим недоверием в странах, которые они традиционно изучали. В результате постепенно исчез термин «востоковедение», а востоковеды превратились в историков. Антропологам пришлось переквалифицироваться еще круче: «примитивные» народы исчезали на глазах, а с ними растворялась и концепция. Вернувшись домой, антропологи принялись за изучение своих родных стран. Что касается оставшихся четырех дисциплин, то впервые на этих факультетах появились специалисты по всем частям света, чего раньше и в помине не было. Рушилась грань между современным и несовременным миром.

С одной стороны, все эти перемены вызвали неразбериху в научных кругах, традиционные устои пошатнулись, и стало неясно, что вообще считать истиной. С другой стороны, появилась возможность пересмотреть существующие истины, и такой подход особенно импонировал все большему числу не-западных ученых и молодым ученым, проникнувшимся духом нового страноведения. В период с 1945 по 1970 год обществоведы вели четыре основные дискуссии, которые и подготовили почву для появления миросистемного ана-

лиза: 1) Экономическая комиссия ООН для Латинской Америки (ЭКЛА) разрабатывала концепцию «ядро-периферии», а затем и «теорию зависимости»; 2) ученые-коммунисты дискутировали на тему полезности «азиатского способа производства» Маркса; 3) западноевропейские историки занимались путями перехода от феодализма к капитализму, а 4) французская школа «Анналов» добивалась победы своей концепции «тотальной истории» у себя в стране, а затем и за рубежом. Ни одна из тем этих дискуссий не была абсолютно новой, но в тот момент они приобретали особое звучание.

Теория «ядра-периферии» стала важнейшим вкладом ученых из стран третьего мира. Были, конечно, немецкие географы, которые предложили нечто подобное еще в 1920-е годы, и румынские социологи в 1930-е годы (хотя румынская социальная структура во многом напоминает структуру стран третьего мира), но только когда в 1950-е годы за дело взялись Рауль Пребиш и его латиноамериканские иконоборцы из ЭКЛА, социологическое сообщество действительно обратило внимание на концепцию. Основная идея была чрезвычайно проста. Международная торговля, говорили они, не есть торговля равных. Одни страны сильнее других экономически (это ядро) и, будучи сильнее, имеют возможность торговать на таких условиях, чтобы добавочная стоимость доставалась им, а не периферии, то есть странам слабым. Позже этот процесс назовут «неравным обменом». Пребиш также разработал механизмы борьбы с неравенством, применяя которые, государства периферии в среднесрочной перспективе могли выравнивать позиции торгующих сторон.

Такая простая идея, конечно же, оставляла без внимания множество деталей, что дало основание для бурных дебатов. Спорили сторонники новой концепции и те, кто придерживался более традиционных взглядов на экономику,

кто предпочитал теорию, которую еще в XIX веке выдвинул Давид Рикардо. Суть этой теории сводилась к следующему: если все будут пользоваться своими «сравнительными преимуществами», все получают максимальную выгоду. Но дискуссии шли и между сторонниками модели «ядро-периферии». Как эта модель работает? Кому на самом деле выгоден неравный обмен? Какими методами с ним можно бороться? И насколько больше должна быть роль политического вмешательства в этой борьбе по сравнению с экономическим урегулированием?

Именно вокруг последнего вопроса построили свою версию анализа ядра-периферии сторонники теории зависимости. Многие настаивали, что без политической революции никакого равенства не добиться. На первый взгляд кажется, что теория зависимости, появившаяся в Латинской Америке, была ответом на экономическую политику, которую проповедовали западные державы, в первую очередь, конечно, США. Андре Гундер Франк придумал термин «развитие недоразвития», который отлично определял результаты политики крупных корпораций, основных государств ядра и межгосударственных организаций, продвигавших принципы «свободной торговли» в мироэкономике. Недоразвитие рассматривалось не как начальная стадия, ответственность за которую несли сами страны, а как результат работы принципов исторического капитализма.

Но в еще большей степени теория зависимости критиковала деятельность латиноамериканских коммунистических партий. Эти партии придерживались теории стадийного развития и доказывали всем, что Латинская Америка живет при феодализме или по крайней мере при полуфеодализме, что буржуазной революции здесь еще не было, а без нее не может быть и пролетарской революции. Поэтому латиноамерикан-

ские радикалы считали абсолютно необходимым сотрудничество с прогрессивной буржуазией, дабы приблизить дни буржуазной революции, после которой уже можно было думать о социализме. *Депендистас* (сторонники теории зависимости — Н. Т.), как и многие другие вдохновленные революцией на Кубе, считали, что официальная линия коммунистов просто-напросто является вариацией политики правительства США, которое стремилось сперва построить либеральные буржуазные государства и создать средний класс. Теоретически *депендистас* были против идей коммунистов, они считали, что Латинская Америка и так уже является неотъемлемой частью капиталистической системы, и поэтому имелись все необходимые предпосылки для социалистической революции.

А между тем в Советском Союзе, в коммунистических странах Восточной Европы, внутри коммунистических партий Франции и Италии разворачивалась дискуссия об «азиатском способе производства». Когда Маркс описывал, причем довольно кратко, стадии развития экономических структур, через которые прошло человечество, одну модель он так и не смог вставить в свою последовательность. Он назвал ее «азиатским способом производства», применив этот термин к большим бюрократическим империям-автократиям, существовавшим по меньшей мере на территории Китая и Индии. То есть Маркс применил свое новое понятие к экономическим системам великих цивилизаций, о которых он читал в работах востоковедов.

В 1930-е годы случилось так, что эта концепция не понравилась Сталину. По всей видимости, ему показалось, что ее можно применить и к царской России, и к стране, которой управлял он сам. Сталин велел переосмыслить Маркса, то есть попросту вычеркнуть эту концепцию из научного обихода. Трудно пришлось советским, да и вообще комму-

нистическим ученым, после этого запрета. Теперь они вынуждены были выворачивать свои построения так, чтобы все периоды истории России и стран Азии вписывались в разрешенные понятия «рабства» и «феодализма». Но с Иосифом Сталиным не спорили.

Когда в 1953 году Сталин умер, ученые сразу же вновь подняли этот вопрос, припоминая, что что-то такое в идее Маркса было. Но, вернувшись к Марксу, они заново открыли для себя и вопрос о стадиях развития, а соответственно пришли к теории развития, которая стала определять работу аналитиков и политиков. Этим ученым пришлось снова налаживать контакты с социологами-немарксистами по всему миру. Можно сказать, что суть этих дебатов, как в капле воды, отразилась в речи генерального секретаря коммунистической партии Советского Союза (КПСС) Никиты Хрущева на XX съезде партии в 1956 году, когда он разоблачил культ личности Сталина и признал «ошибки» в его политике, которая до того момента сомнению не подвергалась. Подобно речи Хрущева, дискуссия об азиатском способе производства тоже дала почву сомнениям и колебаниям и в конечном итоге расколола казавшееся прочным наследие ортодоксального марксизма. Ученые смогли по-новому взглянуть на аналитические понятия, изобретенные в XIX веке, и даже на самого Маркса.

В то же время в Западной Европе велись дискуссии об истоках современного капитализма. Большинство участников этой дискуссии считало себя марксистами, хотя их и не связывала партийная принадлежность. Начало этим дебатам положило «Исследование по развитию капитализма» («Анализ развития капитализма» в русских источниках) Мориса Добба, которое он опубликовал в 1946 году. Добб был английским экономистом-марксистом. В ответ на работу Добба американский экономист-марксист Пол Свизи написал ста-

тью, где дал свое объяснение процесса, который оба называли «переход от феодализма к капитализму». После этого к спору подключились уже многие.

Сторонники Добба рассматривали проблему с точки зрения противопоставления внутренних и внешних факторов. Добб считал, что корни перехода от феодализма к капитализму следует искать во *внутренних* механизмах государства, в особенности это касалось его родной Англии. Добб и соотарищи обвиняли Свизи в том, что тот слишком полагается на *внешние* факторы, ставя во главу угла торговые потоки и совершенно игнорируя значимость изменений в структуре производства, а соответственно, и роль классовых отношений. Свизи и примкнувшие к нему настаивали на том, что происходящее в Англии является прямым следствием перемен, происходивших на всем Европейско-Средиземноморском пространстве, частью которого они считали Англию. Свизи использовал эмпирические данные из работы Анри Пиренна, бельгийского историка-немарксиста, праотца историографической школы «Анналов», который блестяще доказал, что расцвет ислама привел к упадку западноевропейской торговли и к экономическому застою. Сторонники Добба все же были уверены, что Свизи переоценивает роль торговли, так называемой внешней переменной, оставляя без внимания производственные отношения, то есть внутреннюю переменную, которую они считали первичной.

Эту дискуссию можно было считать важной по нескольким причинам. Во-первых, как и в случае с теорией зависимости, она имела политические последствия. Выводы о механизмах перехода от феодализма к капитализму можно было применить и к предполагаемому переходу от капитализма к социализму, о чем многие недвусмысленно намекали. Во-вторых, в процессе этой дискуссии многие экономисты

по образованию стали все чаще обращаться к историческим данным, что привело их к изучению аргументации, которую выдвигала французская школа «Анналов». В-третьих, по существу споры велись вокруг того, что принимать за единицу анализа, хотя тогда никто об этих терминах не говорил. Свизи поднял вопрос о том, имеет ли смысл проследживать социальное развитие отдельно взятой страны или лучше за единицу анализа взять бо́льшую территорию, в пределах которой существовало разделение труда, например все Евро-пейско-Средиземноморское пространство. В-четвертых, как и в случае с дискуссией об азиатском способе производства, дебаты Добба — Свизи пробили брешь в учении Маркса, который анализировал исключительно способы производства и только в отдельно взятом государстве; отныне марксизм больше походил на идеологию, чем на открытую для дебатов научную доктрину.

В дискуссии о переходе от феодализма к капитализму принимали участие в основном англоязычные ученые. В отличие от них школа «Анналов» зародилась во Франции, и долгое время ее идеи находили отклик только в тех регионах, где культурное влияние Франции было традиционно велико, например, в Италии, Иберии, Латинской Америке, Турции и в некоторых районах Восточной Европы. Школа «Анналов» возникла в 1920-е годы как протест против идиографического подхода, безраздельно господствовавшего тогда во французской историографии, которая к тому же занималась практически одной только политической историей. Возглавили этот протест Люсьен Февр и Марк Блок. Школа «Анналов» выдвинула ряд новых принципов. Историография, по их мнению, должна была создавать комплексную картину исторического развития, принимая во внимание все социальные сферы, то есть быть «тотальной». Экономи-

ческие и социальные обоснования этого развития представлялись им гораздо более важными, нежели политическая оболочка. Более того, они предлагали изучать их систематически и не только по архивным документам. Они доказывали, что обобщения в истории не только возможны, но и желательны.

В межвоенный период влияние школы «Анналов» было минимально. Ее расцвет начался внезапно после 1945 года, когда под руководством Фернана Броделя, лидера второго поколения, школа «Анналов» стала во главе историографии сначала во Франции, а затем и во многих других странах. Именно тогда их идеи впервые начали проникать в англоязычный мир. Ученые этой школы начали перекраивать университетскую организацию в Париже, они считали, что историкам нужно учиться учитывать в своей работе достижения социальных дисциплин номотетического характера, а тем, в свою очередь, не плохо было бы стать немного «историчнее». Эра Броделя ознаменовалась научной и институциональной борьбой с разобщенностью общественных наук.

Бродель придумал новый язык для определения социальных эпох, который изменил направление дальнейшей работы. Он критиковал эпизодическую историю (*histoire événementielle*), которая рассматривала отдельные события, а это как раз и была общепринятая идиографическая политическая историография. Бродель называл ее «пылью» в том смысле, что, с одной стороны, она занималась явлениями мимолетными, а с другой — застилала глаза и не давала увидеть настоящие основополагающие конструкции. Вместе с тем Бродель с недоверием относился и к поиску вневременных вечных истин, считая надуманной работу многих социологов-номотетов. Бродель настаивал на том, что между этими двумя крайностями существуют два других «времени», кото-

рые представители обеих культур никак не хотели замечать: структурное время (сюда он относил основные долговременные, но не вечные структуры, на которых держалась вся история) и циклические процессы в рамках этих структур (или среднесрочные тенденции, такие как расширение и сжатие мироэкономики). Бродель также подчеркивал важность правильного определения единицы анализа. В своей первой большой работе он заявлял, что Средиземноморье в XVI веке являлось мироэкономикой (*économie-monde*), и историю этой мироэкономики он сделал темой своего исследования.

Все четыре дискуссии велись в основном в 1950–1960-е годы. Они возникали сами по себе и не зависели друг от друга, часто участники одной дискуссии даже не подозревали о существовании других. Но все же получилось так, что вместе они раскритиковали существующие структуры знания. За интеллектуальным брожением последовал культурный шок от революций 1968 года. И картина, наконец, стала полной. Конечно, мировая революция 1968 года затронула основные политические темы своего времени: например, заставила по-иному взглянуть на гегемонию Соединенных Штатов и их внешнюю политику, которая довела их до войны во Вьетнаме; интересной показалась довольно пассивная реакция на события Советского Союза, которую революционеры восприняли как сговор со Штатами; ну и, не осталась без внимания медлительность традиционных старых левых движений, которые не торопились выступить против существующего положения вещей. Мы еще поговорим об этом.

Революционеры 1968 года имели сильные позиции в ведущих мировых университетах и во время протестов стали поднимать вопросы о структурах знания. Прежде всего их заботила проблема политической вовлеченности ученых в работу, направленную на поддержание мирового статус-кво.

Речь шла в первую очередь о физиках, занимавшихся военными разработками, и о социологах, предоставлявших властям информацию для подавления волнений. Они также подняли вопрос об изучении ряда заброшенных тем; никто из социологов в то время не изучал историю так называемых угнетенных групп, к которым относили женщин, различные меньшинства, аборигенное население, группы с альтернативными сексуальными пристрастиями. Но в конце концов они добрались до фундаментальных вопросов об основах структур знания.

Именно тогда, в начале 1970-х годов, ученые впервые заговорили о миросистемном анализе как о новом взгляде на мир. Миросистемный анализ был попыткой объединить и логически решить вопросы о единице анализа, о временных отрезках и о разобщенности социальных наук.

Перво-наперво миросистемный анализ заявил о новой единице анализа, назвав ее миросистемой, тогда как традиционно стандартной единицей считалось национальное государство. Как правило, историки изучали историю своего государства, экономисты — его экономику, политологи — политические структуры, а социологи — общество. Сторонники миросистемного взгляда могли только скептически пожимать плечами: они очень сомневались, что такие предметы исследований реально существуют, и были уверены, что даже если и существуют, то они не самые нужные и полезные. Они решили заменить единицу анализа и вместо национальных государств предложили изучать «исторические системы», которые до сих пор существовали только в трех вариантах: минисистемы и миросистемы двух видов, мироэкономики и мироимперии.

Думаю, вы обратили внимание на соединительную гласную «о» в словах «миросистема», «мироэкономика» и «ми-

роимперия». Мы говорим здесь не о *мировых (или всемирных)* системах, экономиках, империях, а о системах, экономиках, империях, которые сами по себе *есть мир*, хотя обычно — и даже как правило — они не охватывают весь мир. Это основополагающий момент, и прежде всего нужно уяснить его. Я хочу донести до вас, что миросистема представляет собой некое территориально-временное пространство, которое охватывает многие политические и культурные единицы, но в то же время является единым организмом, вся деятельность которого подчинена единым системным правилам.

Поначалу концепцию применили, конечно же, к «современной миросистеме», которая, как удалось доказать, приняла форму мироэкономики. Концепция сочетала в себе идеи из книги Броделя по Средиземноморью с результатами исследований «ядра-периферии», предпринятых сотрудниками ЭКЛА. Аргументация сводилась к тому, что современная мироэкономика есть мироэкономика капиталистическая, это не первая существующая мироэкономика, но по существу первая, которой удалось выжить и добиться продолжительного успеха, что стало возможным только благодаря тому, что мироэкономика была полностью капиталистической. Теперь капитализм рассматривали не в рамках отдельного государства, а в пределах всей мироэкономики, и так называемые *внутренние* доводы Добба потеряли всякий смысл, поскольку по Доббу выходило, что переход от феодализма к капитализму в пределах одной миросистемы проходил много раз — сначала в одной стране, затем в другой.

Определяясь с предметом анализа, ученые принимали во внимание и другие, более старые идеи. В свое время Карл Поланьи, венгерский (позже английский) историк-экономист, утверждал, что бывает три формы экономической организации: взаимность (по принципу «ты — мне, я — тебе»),

перераспределение (когда товары поднимаются снизу вверх по социальной лестнице, а затем оттуда частично поступают обратно) и рынок (когда обмен принимает монетарную форму и происходит на общественных площадках). Так получилось, что три вида исторических систем — минисистемы, мироимперии и мироэкономики — еще раз подтвердили существование трех форм экономической организации Поляни. В минисистемах экономика строилась на принципах взаимности, мироимперии практиковали перераспределение, а мироэкономики — рыночный обмен.

Классификации Пребиша тоже нашлось место. Считалось, что характерной чертой капиталистической миросистемы является осевое разделение труда между центральными (ядровыми) и периферическими (периферийными) производственными процессами; обмен всегда осуществлялся в пользу тех, кто был задействован в производственных процессах ядра. А поскольку эти процессы были, как правило, сосредоточены в определенных странах, то стали говорить о зонах ядра и периферии (или даже о государствах ядра и периферии). Но, подразделяя страны таким образом, важно помнить, что речь идет не о странах как таковых, а о характерных для них производственных процессах. В миросистемном анализе понятие «ядро-периферия» является относительным, не надо наделять каждое из этих двух слов отдельным конкретным значением, не надо материализовывать их.

Какие производственные процессы свойственны ядру, а какие — периферии? Ответить на этот вопрос можно, посмотрев, что относительно доминирует в том или ином производственном процессе — монополии или свободный рынок. Прибыльность относительно монополизированных процессов намного выше прибыльности рыночных. Именно поэтому

страны, где типичные для ядра процессы были более развиты, стали богаче. Нужно принимать во внимание неравные возможности продукции, произведенной монополией, и продукции, произведенной множеством компаний в условиях свободного рынка, потому что в результате товарообмена между ядром и периферией добавочную стоимость, то есть значительную часть реальной прибыли многочисленных производителей, всегда получают государства, где превалируют производственные процессы, характерные для ядра.

В учении Броделя было два ключевых момента. Во-первых, как он позже писал в работе о капитализме и цивилизации, существовало четкое различие между сектором свободного рынка и сектором монополий. Капитализмом Бродель называл только сектор монополий, он не считал свободный рынок признаком капитализма и даже, наоборот, настаивал на том, что капитализм — это «антирынок». Концепция Броделя и по форме и по существу была прямым ударом по позициям экономистов-классиков (включая Маркса), которые рассматривали рынок и капитализм как нечто единое. Во-вторых, основополагающим моментом миросистемного анализа Бродель считал многообразие социального времени и обращал особое внимание на структурное время, которое он назвал *длительной протяженностью* (*longue durée*). Под *longue durée* сторонники миросистемного анализа понимают протяженность определенной исторической системы. Таким образом, можно было делать обобщения о функционировании систем и при этом не угодить в ловушку вечных вневременных истин. Но если системы не были вечными, значит, можно было проследить их зарождение, собственно жизнь, или период развития, и завершающую, переходную, стадию.

С одной стороны, такой взгляд еще раз доказал, что социальная наука должна опираться на историю и изучать яв-

ления на протяжении длительных периодов и на больших пространствах. Но он также открыл, или возобновил, дискуссию об исторически переходных периодах (транзитах). Добб и Свизи объясняли переход от феодализма к капитализму совершенно по-разному, но оба тем не менее склонялись к мысли, что переход неминуем, как его ни трактуешь. Эта уверенность была прямым отражением появившейся в эпоху Просвещения теории прогресса, которая вдохновляла и классических либеральных мыслителей, и классиков марксизма. Приверженцы миросистемного анализа к неминимости прогресса отнеслись крайне скептически. По их мнению, прогресс был возможен, но отнюдь не неминуем. Они очень сомневались даже в том, что построение капиталистической мироэкономики можно назвать прогрессом. Зато благодаря такому скептическому взгляду в историю человечества удачно вписывались реалии систем, собранных под названием «азиатский способ производства». Теперь можно было не беспокоиться об их месте на линейной кривой истории. Самое время было задаться вопросом, почему вообще произошел переход от феодализма к капитализму (как будто ему существовала реальная альтернатива); можно было забыть о неизбежности этого перехода и изучать только его непосредственные причины.

Миросистемный анализ без должного почтения отнесся к границам общественных наук, и это, пожалуй, стало его третьим основополагающим элементом. Ученые, ставшие на позиции миросистемного анализа, принялись всесторонне изучать социальные системы на длительной временной протяженности. Они без стеснения брали темы и материалы, которые до того принадлежали исключительно историкам или экономистам, политологам или социологам, и создавали единые аналитические конструкции. Но миро-

системный подход нельзя назвать мультидисциплинарным, поскольку он не признавал за всеми этими дисциплинами права на интеллектуальное существование. Миросистемный анализ выработал свой собственный, единостепенный, подход.

Конечно же, выдвинув свои три основополагающих принципа (миросистема, а не национальное государство в качестве единицы анализа, длительная протяженность и единостепенный подход), миросистемный анализ покусился на множество священных коров. Поэтому вполне естественно, что контратака не заставила себя ждать. Бурная реакция последовала незамедлительно с четырех сторон: возмутились номотеты-позитивисты, ортодоксальные марксисты и сторонники автономной сущности государств или отдельных культур. Все их претензии сводились к одному — миросистемный анализ не учел их основные принципы. Конечно, они были правы, но вряд ли такой аргумент может что-то решить в интеллектуальном споре.

Номотеты-позитивисты считали, что миросистемный анализ имеет слишком повествовательный характер, его теории зиждутся на гипотезах, которые никто досконально не проверял. Более того, частенько они доказывали, что утверждения миросистемного анализа невозможно проверить, а поэтому они несостоятельны по своему существу. Частично такого рода критика касается недостатка (или отсутствия) количественных методов анализа, частично сводится к недостатку (или отсутствию) упрощений, когда сложные явления представляются в виде простых и четких переменных. К тому же здесь можно разглядеть намек на привнесение ценностно-нагруженной подоплеки в аналитическую работу.

Конечно, претензии миросистемного анализа к номотетическому позитивизму были ровно противоположны. Сто-

ронники миросистемного анализа вместо того, чтобы упростить сложные явления, сводить их к простым переменным, старались, наоборот, усложнить и, так сказать, контекстуализировать эти переменные с целью понять реальную социальную картину. Миросистемный анализ ничего не имеет против количественных методов как таковых: почему бы не воспользоваться статистическими данными, если они есть; но, как учит старый анекдот про пьяницу, потерянный ключ нужно искать не только под фонарем, где света больше, то есть статистических данных — в нашем случае. Ведь вы будете искать данные, чтобы решить возникшие интеллектуальные вопросы, а не наоборот. Не станете же вы поднимать вопросы только потому, что у вас есть точные количественные данные? Правда, такое обсуждение скорее напоминает диалог глухих, как сказали бы французы. В конечном счете вопрос не в том, чья методология лучше и правильнее, а в том, кто сможет дать более убедительное объяснение истории и пролить свет на долговременные крупномасштабные социальные перемены, будут это номотеты-позитивисты или приверженцы миросистемного анализа.

Если у вас сложилось впечатление, что позитивисты номотетического толка признают лишь набор строгих безрадостных ограничений, будьте уверены, ортодоксальные марксисты (позвольте мне так выразиться) легко дадут им фору. Ортодоксальный марксизм погряз в постулатах общественной науки XIX века, как, впрочем, и классический либерализм. Постулаты следующие: капитализм является неизбежным этапом после феодализма; фабричная организация производства — основа капиталистического производства; социальные процессы линейны; экономическая база определяет менее существенную политическую и культурную надстройку. Критика настоящего марксиста, историка-эко-

номиста Роберта Бреннера, отстаивавшего эту точку зрения, хороший тому пример.

Основная претензия марксизма заключалась в том, что, рассматривая разделение труда по оси ядро-периферия, центральным элементом для объяснения социальных перемен миросистемный анализ видел оборотничество против марксистского производственничества с его добавочной стоимостью и классовой борьбой буржуазии и пролетариата. К тому же миросистемный анализ отказывался признавать неоплачиваемый труд отмирающим анахронизмом, и это марксисты также вменяли ему в вину. И снова критики разворачивали вспять направленные против них доводы. Сторонники миросистемного анализа считали, что в капиталистической системе существует множество вариантов организации труда и что оплачиваемый труд является одним из многих, причем не самым выгодным с точки зрения капитала. Они готовы были рассматривать и оценивать классовую борьбу и любые другие проявления социального протеста только в контексте всей миросистемы. К тому же миросистемщики не считали государства капиталистической мирозкономики автономными или изолированными образованиями, а соответственно, не могло у них быть и какого-то особенного способа производства.

Критика сторонников автономности государств была несколько обратной. В то время как ортодоксальные марксисты сетовали на то, что миросистемный анализ не признает центральной роли способа производства, сторонники автономной сущности государств, наоборот, не могли согласиться с тем, что согласно миросистемной концепции экономический базис определяет все реалии политической жизни. Эту позицию озвучивали социолог Теда Скочпол и политолог Аристид Зольберг, вдохновленные более ран-

ними исследованиями немецкого историка Отто Хинце. Эта группа ученых не была согласна с тем, что все политические арены государственного или межгосударственного уровня являются лишь частью капиталистической мирозкономики. По их мнению, происходящим на этих аренах управляли совершенно другие, автономные, движущие силы, зависящие от чего угодно, но не от поведения рынка.

И наконец, с появлением ряда так называемых «пост»-концепций, связанных с изучением культур, на миросистемный анализ посыпались упреки, очень похожие на упреки сторонников автономной сущности государства. Снова миросистемный анализ выводил надстройку, в данном случае сферу культуры, из экономического базиса, не обращая внимания на центральную автономную роль культурного сектора. Можете почитать об этом у социолога-культуролога Стэнли Ароновича. Миросистемному анализу приписывали ошибки номотетического позитивизма и ортодоксального марксизма, хотя сами сторонники миросистемного анализа как раз критиковали положения обеих этих школ. Вместе с этим миросистемный анализ называли очередной версией «всеохватывающей повести» (гранд нарратива). Несмотря на всю свою преданность «тотальной истории», миросистемный анализ осуждали за его *экономизм*, то есть за стремление доказать первенство экономики перед остальными сферами деятельности человека. Несмотря на ранние и достаточно сильные нападки миросистемщиков на европоцентризм, их самих в нем и обвинили на том основании, что миросистемный анализ не признавал автономию различных культурных образований, или, проще говоря, не признавал центрального места «культуры».

Ну, конечно, миросистемный анализ – концепция повествовательная. Более того, сторонники миросистемного

анализа придерживаются той точки зрения, что все формы исследовательской деятельности должны обязательно использовать повествовательный жанр, другое дело, что одни повести отражают действительность лучше, другие — хуже. Придерживаясь принципов тотальной истории и единой дисциплинарного подхода, сторонники миросистемного анализа и не собирались заменять так называемый культурный базис на экономический. Отнюдь, как мы уже говорили раньше, они постарались разрушить границы между экономическими, политологическими и социо-культурными исследовательскими методиками. Но самое главное заключается в том, что миросистемный анализ не хотел выплеснуть младенца вместе с водой. Если вы против сциентизма — это же вовсе не означает, что вы против науки. А если вы не признаете вневременных структур — это еще не значит, что вы полностью отказываете в существовании структурам, привязанным ко времени. Можно быть недовольным текущей организацией исследовательского процесса, критически относиться к делению на дисциплины и при этом верить, что есть такое знание, к которому можно прийти сообща. Если вы против партикуляризма, замаскированного под универсализм, это вовсе не означает, что все точки зрения одинаково правомерны и что поиски плюралистического универсализма тщетны.

Но все критики сходились в одном: миросистемному анализу не хватало центрального действующего лица в их трактовке истории. У номотетов-позитивистов все вращалось вокруг индивидуума, *homo rationalis*'а. Для классиков марксизма главным героем был пролетарий, а для сторонников автономной сущности государства — политик. Приверженцы автономности отдельных культур видели героя своей повести в каждом отдельном непохожем на других человеке,

который общается с такими же неповторимыми людьми, как и он. А для миросистемного анализа все эти действующие лица, а также многочисленные структуры, которые вы и сами можете перечислить, — звенья одной цепи. Это вовсе не базовые элементарные частицы, но составляющие части системной смеси, из которой они вышли и согласно которой действуют. Они вольны поступать, как им хочется, но они есть часть общего, и их свободу сковывают биографические и социальные барьеры. Получить максимум свободы можно, только проанализировав несвободу. До той степени, до которой мы сможем проанализировать степень нашей социальной несвободы, — до той степени мы сможем освободиться от социальных барьеров.

И в конце хотелось бы подчеркнуть, что для сторонников миросистемного анализа время и пространство, или скорее связанное ВремеПространство, не является внешней неизменной данностью, которая всегда была, есть и будет и в рамках которой существует социальная действительность. ВремеПространства создаются и постоянно меняются, и их создание является неотъемлемой частью социальной реальности, которую мы анализируем. Исторические системы, в которых мы живем, и правда, систематичны, но в то же время и историчны. Они не меняются на протяжении долгого времени, но вместе с тем меняются каждую минуту. Это, конечно, парадокс, но не противоречие. Мы не можем его обойти, поэтому основная задача исторической социальной науки — научиться с этим парадоксом справляться. Это не загадка, а вызов.

## 2. СОВРЕМЕННАЯ МИРОСИСТЕМА ЕСТЬ КАПИТАЛИСТИЧЕСКАЯ МИРОЭКОНОМИКА *Производство, прибавочная стоимость и поляризация*

Мир, в котором мы сейчас живем, то есть современная мир-система, зародился в XVI веке. Тогда мир-система занимала лишь часть земного шара, некоторые районы Европы и обеих Америк. Постепенно она росла и охватила всю планету. Современная мир-система есть и всегда была *мироэкономикой*. Она есть и всегда была *капиталистической* мироэкономикой. Думаю, стоит начать с объяснения того, что означают эти два понятия — мироэкономика и капитализм, тогда потом будет легче оценить исторические контуры современной мир-системы, истоки ее происхождения, географию, развитие во времени и современный структурный кризис.

Говоря о мироэкономике (Броделева *économie-monde*), мы подразумеваем географически обширную зону, внутри которой существует разделение труда, соответственно, происходит внутренний обмен основными важнейшими товарами, а также движутся потоки труда и капитала. Причем, что характерно, мироэкономика не связана единой политической структурой. Наоборот, внутри мироэкономики существует множество отдельных политических единиц, свободно переплетенных между собой при помощи системы межгосударственных отношений. Люди, живущие в одной мироэкономике, исповедуют разные религии, говорят на разных языках, и вообще их повседневная жизнь очень различается. Однако это не означает, что они не выработали какие-то общие культурные модели; мы будем называть их совокупность геокульту-

рой. Но все же не нужно надеяться, а тем более пытаться отыскать политическое или культурное единообразие в нашей мироэкономике. Вся структура держится главным образом на разделении труда, которое в ней и возникло.

Если есть люди или компании, которые производят что-то, потому что хотят продать это на рынке и получить прибыль, то это еще вовсе не капитализм. Такие люди и компании существовали на протяжении тысяч лет во всех уголках земного шара. Если есть люди, которые за свой труд получают деньги, это тоже не абсолютный признак капитализма: наемный труд также насчитывает тысячелетия. О капитализме можно говорить, только если система ставит во главу угла *бесконечное* накопление капитала. Если мы принимаем такое определение, то только современная миросистема является капиталистической. Концепция бесконечного накопления чрезвычайно проста: люди или фирмы накапливают капитал для того, чтобы накопить его еще больше, а это процесс непрерывный и бесконечный. Если мы говорим, что система «ставит во главу угла» такое бесконечное накопление, это значит, что структура выстроена так, что люди с иной мотивировкой будут каким-то образом наказаны и удалены с социальной арены, а те, кто движется согласно системному курсу, будут вознаграждены, а особо удачливые — обогатятся.

Мироэкономика и капиталистическая система идут бок о бок. Поскольку мироэкономикам не хватает цементирующего вещества, их не скрепляет ни общая политическая структура, ни единая культура, то вместе их держит только действенность разделения труда. И эта действенность возникает в результате постоянного роста богатства, которое обеспечивает капиталистическая система. До нашего времени мироэкономики появлялись не раз, но они либо сами разваливались, либо *manu militari* (дословно: военной рукой)

их превращали в мироимперии. Исторически получилось так, что только современная миросистема выжила и уже достаточно долго существует в виде мироэкономики. Это стало возможным только благодаря пустившей корни капиталистической системе, которая стала основной объединяющей силой мироэкономики.

И обратный момент: капиталистическая система не может существовать ни в каких других рамках, кроме мироэкономических. Мы еще увидим, что капиталистическая система требует весьма определенных взаимоотношений между производителями и властью предержащими. Если последние будут слишком сильны, как это было в мироимпериях, их интересы перевесят интересы производителей и бесконечное накопление капитала уже не будет основным приоритетом. Капиталистам нужен большой рынок (поэтому минисистемы им не подходят) и множество разных государств, работая с которыми можно получать определенные преимущества, но помимо этого капиталисты могут обходить государства, враждебные их интересам, в пользу дружественных. А при всеобщем разделении труда только множественность государств обеспечивает эту возможность.

Капиталистическая мироэкономика представляет собой множество институтов, и эти переплетенные между собой институты определяют все процессы, протекающие в мироэкономике. Главным институтом является рынок, или скорее рынки; далее идут фирмы, конкурирующие на этих рынках; множество государств, связанных межгосударственными отношениями; домохозяйства; классы; статусные группы (если говорить языком Вебера, хотя в последнее время многие предпочитают термин «идентичности»). Все эти институты создала капиталистическая мироэкономика. Конечно, у этих институтов есть что-то общее с ин-

ститутами, существовавшими в предыдущие исторические эпохи, которым мы даже дали похожие названия. Но одинаковые названия институтов, принадлежащих различным системам, только запутывают, а отнюдь не упрощают анализ. Лучше рассматривать совокупность институтов современной миросистемы контекстуально, как характерные атрибуты именно этой системы.

Давайте начнем с рынков, поскольку именно наличие рынков считается важнейшей чертой капиталистической системы. Рынком называют и вполне реальное локальное образование, где люди и фирмы покупают и продают товары, и виртуальное пространство, где, по сути дела, происходит то же самое. Реальные возможности, которые продавцы и покупатели имеют в данный отрезок времени, всегда определяют размер и охват такого виртуального рынка. В принципе в условиях капиталистической мирозкономики виртуальный рынок охватывает всю мирозкономику целиком. Но как мы увидим позже, на этом пространстве очень часто возникают препятствия, которые способствуют возникновению более узких, более «защищенных» рынков. Естественно, существуют отдельные рынки для отдельных товаров, есть рынок для капитала и для различных видов рабочей силы. Но можно с уверенностью сказать, что со временем появится единый мировой рынок, где будут торговать всеми без исключения факторами производства, и это произойдет, несмотря на все барьеры, препятствующие свободной работе рынка. Конечно, такой совершенный виртуальный рынок будет магнитом притягивать всех производителей и покупателей, а это важный политический фактор, которым, принимая решения, руководствуются все — государства, фирмы, домохозяйства, классы, статусные группы (или идентичности). Можно сказать, что такой совершенный мировой ры-

нок уже существует в том смысле, что он влияет на принятие всех без исключения решений, но он никогда не был полностью свободным, никогда не работал без всяких помех. Абсолютно свободный рынок может быть идеологией, мифом, сдерживающим фактором, но реальностью повседневной жизни — никогда.

Может быть, когда-нибудь свободный рынок и станет повседневной реальностью, но тогда прекратится бесконечное накопление капитала, и это одна из причин, почему этого до сих пор не произошло. Это может показаться парадоксальным, поскольку вполне понятно, что капитализм не может существовать без рынков, а капиталисты все время повторяют, что они только приветствуют создание свободного рынка. Но на самом деле совершенно свободный рынок капиталистам не нужен, им вполне достаточно и частично свободного рынка. Причина ясна. Предположим, что, и правда, существует мировой рынок с по-настоящему свободными факторами производства, как обычно его определяют наши учебники по экономике, где обмен происходит без всяких ограничений, где участвует огромное количество продавцов и покупателей, где все — и продавцы, и покупатели — обладают исчерпывающей информацией об издержках производства. На таком идеальном рынке покупатели всегда смогут сбить уровень прибыли до абсолютного минимума, ну, скажем, до копейки, а с таким низким уровнем прибыли капиталистические игры потеряют для производителей всякий интерес, таким образом, будет уничтожена социальная основа всей системы.

Для продавцов всегда выгодней монополия, потому что тогда можно заложить большую разницу между производственными издержками и продажной ценой и получить максимальную прибыль. Конечно, создать идеальную монополию

очень трудно, она, и правда, встречается крайне редко, чего нельзя сказать о квазимонополиях. Единственное, что для этого нужно, — это поддержка довольно сильной государственной машины, которая сможет упрочить положение квазимонополии. Вариантов существует множество. Основным, конечно, является система патентования, которая на определенное время закрепляет все права на «изобретение». Именно поэтому «новые» товары так дорого обходятся потребителям и приносят такую хорошую прибыль производителям. Естественно, патенты часто нарушают, а со временем срок их действия истекает, но тем не менее на какое-то время они защищают квазимонополию. И даже в том случае, когда продукция защищена патентом, можно говорить только о квазимонополии, потому что всегда на рынке найдутся похожие товары, от которых не спасет ни один патент. Поэтому нормальной ситуацией для рынка ведущих товаров (ведущими называют товары новые, но уже занимающие значительное место на мировом рынке) является олигополия, а вовсе не монополия. Олигополии обеспечивают производителям достаточно высокий уровень прибыли, тем более что фирмы довольно часто стараются договориться между собой и свести на нет ценовую конкуренцию.

Государства могут создавать квазимонополии не только при помощи патентов. Другим вариантом могут служить ограничения импорта и экспорта, или так называемые охранительные меры. Третий вариант заключается в предоставлении субсидий и налоговых послаблений. Есть еще действенный метод, когда сильные государства, поигрывая мускулами, не дают государствам слабым вводить у себя противоохранные меры. Государства могут также выступать крупными покупателями определенных продуктов, готовыми платить высокую цену, — и это еще один вариант.

И наконец, крупные производители гораздо проще воспринимают государственные директивы, налагающие на них ограничения, тогда как для мелких это серьезное бремя. Благодаря такой асимметрии мелкие производители уходят с рынка, а доля олигополий увеличивается. Существует так много вариаций участия государства в работе виртуального рынка, что можно с уверенностью назвать его основополагающим фактором, определяющим уровень цен и прибылей. Без вмешательства государства капиталистическая система не смогла бы преуспеть, а соответственно, и выжить.

Тем не менее у капиталистической мироэкономики есть две встроенные черты совершенно антимонопольного характера. Во-первых, монопольное преимущество одного производителя обязательно подразумевает потери другого. Вполне естественно, что проигравшие пытаются политическими методами лишить победителей их преимуществ. Они могут развернуть борьбу в странах, где расположены монопольные производства, взывая к принципам свободного рынка и помогая политическим лидерам, склонным покончить с теми или иными монопольными преимуществами. Или же действовать через другие государства, убеждая их отказаться от продукции всемирного монополиста в пользу аналогичного товара конкурентных производителей. Оба метода применяются довольно часто. Поэтому со временем каждая монополия теряет свои позиции и пускает на рынок других производителей.

Таким образом, квазимонополии уничтожают сами себя. Но живут они достаточно долго (скажем, лет тридцать), для того чтобы обеспечить накопление весомого капитала тем, кто этими квазимонополиями управляет. Когда квазимонополия прекращает свое существование, крупные капиталы попросту переводят в производство других ведущих това-

ров или даже в какую-нибудь новую отрасль. В результате мы имеем круговорот ведущих товаров. А ведущие товары живут сравнительно недолго: им на смену всегда приходят новые ведущие отрасли. И все начинается сначала. Как только некогда ведущая отрасль достигает пика, она сразу же становится все более «конкурентной», то есть менее и менее прибыльной. Примеры тому мы наблюдаем постоянно.

Основными игроками на рынке являются фирмы. Одни фирмы конкурируют с другими фирмами, работающими на том же рынке. Помимо этого, фирмы конфликтуют с фирмами, которые снабжают их исходными материалами, и с теми, которые покупают у них готовую продукцию. Называется эта жестокая игра капиталистическим соперничеством. Только самые сильные и проворные могут в ней победить. Всегда нужно помнить, что банкротство или поглощение более сильной компанией будет хлебом насущным любого капиталистического предприятия. Не всем удастся накопить капитал. Далеко не всем. Если бы все добились успеха, на каждого пришлось бы по крошечному капитальцу. Так что постоянные «поражения» не только убирают с рынка слабаков, но и являются непременным условием для бесконечного накопления капитала. Так и объясняется постоянный процесс концентрации капитала.

Естественно, наблюдается тенденция к укрупнению компаний: это может быть либо горизонтальное укрупнение (в той же товарной категории), либо вертикальное (движение по ступенькам производственной цепочки), либо ортогональное, давайте так это назовем (здесь я имею в виду укрупнение в сторону другой товарной группы, никак не связанной с основным производством). Размер снижает издержки за счет так называемого эффекта масштаба. Но в то же время увеличивает административные и координационные расходы,

а также увеличивает риск неэффективного управления. Из-за этого противоречия многие фирмы развиваются зигзагообразно — то укрупняясь, то уменьшаясь. Но это вовсе не простое движение вперед-назад. Был период, когда во всем мире наблюдалась одна и та же тенденция, и весь исторический процесс стал похож на *храповик — два шага вперед, один назад, и так — снова и снова*. Размер компании имеет и вполне реальную политическую подоплеку. Большой размер обеспечивает фирме влияние в политических кругах, но в то же время делает ее очень уязвимой к политическим нападениям со стороны конкурентов, наемных рабочих или потребителей. Но и здесь действует принцип храповика: опустившись, казалось бы, до нижней отметки, со временем политическое могущество компании только вырастет.

Осевое разделение труда в капиталистической мироэкономике подразумевает и разделение продукции на свойственную ядру и свойственную периферии. Концепция «ядра-периферии» — это концепция-отношение. Под отношением ядра-периферии мы понимаем степень прибыльности производственных процессов. А поскольку прибыльность напрямую связана со степенью монополизации, то получается, что ядру свойственны производственные процессы, которые контролируют квазимонополии. Периферии в таком случае остаются по-настоящему конкурентные процессы. Когда происходит обмен, конкурентные товары оказываются в худшем положении, чем продукция квазимонополий. В результате мы можем наблюдать постоянный поток прибавочной стоимости от производителей периферии к производителям ядра, что и получило название неравного обмена.

Но будьте уверены, неравный обмен — далеко не единственный способ перекачки накопленного капитала из политически слабых в политически сильные регионы. Есть еще,

например, грабеж, который довольно широко применялся на заре присоединения новых земель к нашей мирозакономике (вспомните хотя бы конкистадоров и американское золото). Но грабеж уничтожает сам себя. Это все равно, что собственными руками убивать курицу, несущую золотые яйца. Однако последствия грабежа становятся ясны много позже, а выгоды налицо сразу же, поэтому и в современной мирозакономике грабеж практикуется довольно часто, хотя мы обычно бываем чрезвычайно «шокированы», когда о нем узнаем. Когда обанкротился «Энрон», после того как огромные суммы переключались в карманы к нескольким директорам, — это и был самый настоящий грабеж. Когда «приватизация» государственной собственности привела к тому, что все досталось мафиозоподобным бизнесменам, которые быстро покинули страну, оставляя позади разоренные предприятия, — это тоже пример грабежа. Да, грабеж уничтожает сам себя, но только после того, как нанесет большой урон мировой системе производства, да и здоровью всей капиталистической мирозакономике.

Квазимонополии нуждаются в патронаже сильных государств, поэтому они в основном и базируются — и юридически, и физически — в таких государствах и, конечно, оформляют здесь права собственности. А раз так, то отношение ядро-периферия можно рассматривать с точки зрения географии. Свойственные ядру процессы группируются в нескольких государствах, и на них приходится основной объем всех производственных процессов этих стран. Поэтому с некоторой натяжкой мы все-таки можем говорить о странах ядра, но только в том случае, если не будем забывать, что речь на самом деле идет об отношении производственных процессов. В некоторых государствах процессы, свойственные ядру, равномерно перемешаны с процессами, свой-

ственными периферии. Такие государства можно назвать полуперифериями. Как мы позже увидим, политика таких государств весьма специфична. Однако нет смысла выделять производственные процессы, характерные только для полупериферии.

Как мы уже видели, квазимонополии исчерпывают сами себя, поэтому процессы, сегодня свойственные ядру, завтра будут характерны уже для периферии. В экономической истории современной миросистемы полно примеров «обесценивания» товаров, перемещения производств из ядра в полупериферию, а затем и в периферию. Если в 1800 году производство текстиля было, наверное, самым передовым производственным процессом ядра, то к 2000 году текстильное производство совершенно очевидно стало одним из наименее прибыльных производственных процессов периферии. В 1800 году текстиль производили только в нескольких странах (в Англии и некоторых других странах северо-западной Европы), а в 2000 году текстиль, особенно дешевый текстиль, производили чуть ли не во всех уголках миросистемы. Многие товары проделали тот же путь. Вспомните, что произошло со сталью или автомобилями, с компьютерами, наконец. Сдвиг такого рода никак не влияет на структуру самой системы. В 2000 году ядру были характерны уже совсем другие производственные процессы, например авиастроение и генная инженерия, опять же сконцентрированные в нескольких странах. Со временем процессы, свойственные ядру, становятся все более конкурентными, и тогда они уходят из стран, где зародились, уступая место новым.

В каждом государстве свое соотношение производственных процессов, свойственных ядру и периферии, и вес государства во многом зависит от этого сочетания. Сильные государства, где доля свойственных ядру процессов непро-

порционально велика, подчеркнуто поддерживают квази-монополии. А самые слабые государства, где преобладают производственные процессы периферии, как правило, не в состоянии влиять на осевое разделение труда и в результате вынуждены принимать как должное уготованную им судьбу.

Но в самом трудном положении оказываются государства полупериферии, где производственные процессы ядра и периферии поделены примерно поровну. Они оказались меж двух огней: с одной стороны на них давят страны ядра, с другой — они сами оказывают давление на страны периферии. Главная забота стран полупериферии — не скатиться в периферию, но гораздо лучше для них было бы приблизиться к ядру, и они делают для этого все возможное. Обе задачи не просты, и обе требуют серьезного вмешательства государства в дела мирового рынка. Именно государства полупериферии особенно активно и публично проводят так называемую протекционистскую политику. Они надеются таким образом защитить свое производство от конкуренции со стороны более сильных фирм извне и в то же время увеличить эффективность работы местных производителей, чтобы им проще было конкурировать на мировом рынке. Они всегда с готовностью воспринимают у себя производство некогда ведущих товаров, что теперь называется достижением «экономического развития». В борьбе за новые производства странам полупериферии приходится конкурировать не со странами ядра, а со странами той же полупериферии, всегда готовыми запустить у себя новые производства, которых на всех желающих, конечно же, не хватает. Пожалуй, самые яркие примеры стран полупериферии в начале XXI века нам дают Южная Корея, Бразилия и Индия. Это страны с сильными предприятиями, которые, с одной стороны, производят экспортные товары (к примеру, сталь, ав-

томобили, лекарства) для стран периферии, а с другой — покупают более «продвинутые» товары в странах ядра.

Циклические колебания мироэкономики определяются естественным ходом развития ведущих отраслей промышленности, то есть постепенным распадом квазимонополий. Основная лидирующая отрасль всегда служит главным стимулом для роста мироэкономики, в результате чего растет и накопленный капитал. Но в то же время рост мироэкономики приводит и к росту занятости населения, и к росту зарплат, а соответственно, к всеобщему росту относительного благосостояния. Когда все больше фирм выходит на рынок, некогда принадлежавший квазимонополии, появляется «перепроизводство», то есть возникает ситуация, когда объем произведенной продукции превосходит спрос на нее в определенный отрезок времени; соответственно под нажимом покупателей увеличивается ценовая конкуренция, а уровень прибыли падает. В какой-то момент происходит затоваривание непроданной продукцией и дальнейшее производство приходится приостанавливать.

Когда складывается подобная ситуация, можно говорить о сжатиі пульсирующего организма мироэкономики. Такой период называют застоем, или спадом, мироэкономики. По всему миру растет уровень безработицы. Производители стараются максимально снизить производственные издержки, чтобы удержать свои позиции на мировом рынке. Одним из действенных методов является перевод производственного процесса в зону, где зарплаты традиционно ниже, то есть в страны полупериферии. В результате такого перебазирования растет напряжение внутри производственных процессов ядра, и уровень зарплат неминуемо падает и там. Если поначалу эффективный спрос отсутствовал из-за перепроизводства, то теперь его вообще не при-

ходится ожидать из-за снижения доходов покупателей. В такой ситуации проигрывают далеко не все производители. Вполне естественно, что резко растет конкуренция внутри прореженной олигополии, задействованной в таком производственном процессе. Компании сражаются яростно, часто прибегая к помощи государства. Многим государствам и некоторым компаниям удастся «экспортировать безработицу» в другие страны ядра. Мировая экономика сжимается систематически, но определенные страны ядра и особенно некоторые страны полупериферии, по всей видимости, довольно неплохо справляются с такой ситуацией.

Мы описали процессы, происходящие в мировой экономике: расширение, или подъем, когда появляются квазимонопольные ведущие отрасли, и сжатие, или спад, когда эти квазимонополии постепенно распадаются. Этот процесс можно изобразить волнистой кривой, где фаза А будет обозначать расширение (подъем), а фаза Б — сжатие (спад). Такой цикл, где фазы роста чередуются с фазами спада, часто называют Кондратьевским циклом в честь экономиста, который доходчиво описал это явление в начале XX века. До сих пор считается, что Кондратьевский цикл продолжается от пятидесяти до шестидесяти лет. Точная длина цикла зависит от того, какие политические меры предпринимает государство, для того чтобы как можно дальше отодвинуть фазу Б, но в еще большей степени — от оздоровительных мер, направленных на выход из фазы Б, когда появление новой ведущей отрасли может послужить началом новой фазы А.

Когда заканчивается один Кондратьевский цикл, начинается новый, но ситуация никогда не возвращается к отправной точке предыдущего цикла. Этого не может произойти по той причине, что при выходе из фазы Б коренным образом меняются характеристики всей миросистемы. Измене-

ния, которые могут привести к решению сиюминутной (или краткосрочной) задачи недостаточного расширения мироэкономики (а расширение мироэкономики является базовым условием для бесконечного накопления капитала) могут восстановить среднесрочное равновесие, но обязательно повлекут за собой проблемы структурного характера в долгосрочной перспективе. В результате мы получим тренд за большой период времени. Он представляет собой кривую, которую можно построить, отложив на оси абсцисс (или оси *x*) время, а на оси ординат (или оси *y*) измерить явление, определив *долю какой-то группы, обладающей определенной характеристикой*. Если со временем этот процент пойдет круто вверх, значит, скоро он достигнет отметки 100 %, поскольку на оси ординат мы решили откладывать проценты, и рост прекратится по определению. Никакая характеристика не сможет превысить отметку 100 %. А это значит, что, справившись с проблемами среднесрочного характера, то есть добившись постоянного подъема кривой, в конце концов мы все равно столкнемся с отложенными проблемами, приближаясь к асимптоте.

Разрешите показать вам на примере, как это происходит в реальной жизни капиталистической мироэкономики. В Кондратьевском цикле есть, однако, свои проблемы. Так например, ведущие производственные процессы в определенный момент теряют доходность и начинают перемещаться, чтобы снизить издержки. Тем временем в странах ядра растет безработица, а это напрямую влияет на эффективность мирового спроса. Отдельным фирмам удастся снизить издержки, зато покупателей всему предпринимательскому сообществу в целом уже не хватает. Чтобы сохранить спрос на достаточном уровне, можно увеличить выплаты простым рабочим в странах ядра, что и случалось неодно-

кратно на последнем этапе фазы Б Кондратьевского цикла. Таким образом удастся сохранить более или менее достойный спрос, и, значит, у новых ведущих товаров будут покупатели. Конечно, чем выше уровень выплат работникам, тем ниже прибыли предпринимателей. Но в масштабе всего мира с этой проблемой можно справиться, привлекая наемных работников из других частей света, готовых работать за более низкую плату. Можно привлечь новых работников, для которых эта более низкая зарплата будет существенным увеличением реального дохода. Но чем больше «новых» наемных работников будут привлекать компании, тем их останется меньше для следующего раза. Наступит время, когда резервная база наемного труда сократится до такой степени, что не сможет эффективно существовать и дальше. Мы опять близки к асимптоте. Мы еще вернемся к этому вопросу в последней главе, когда речь пойдет о структурном кризисе XXI века.

Совершенно ясно, что капиталистической системе нужны рабочие, которые бы обеспечивали ее производственные процессы трудом. Этих рабочих часто называют пролетариями, то есть наемниками без дополнительных средств к существованию, потому что у них нет ни земли, ни сбережений, ни собственности. Это не совсем так. Во-первых, трудно представить себе рабочих в абсолютной изоляции. Практически все рабочие входят в структуру, которая называется домохозяйством, а такая структура, как правило, связывает человека с другими людьми обоих полов и разных возрастных групп. Много, возможно большинство, домохозяйств можно назвать попросту семьями, но структура держится далеко не только на семейных узах. Часто члены домохозяйства живут вместе, но на самом деле это происходит гораздо реже, чем принято думать.

В типичном домохозяйстве живет от трех до десяти человек, которые на протяжении долгого времени (скажем, на протяжении тридцати лет) пытаются вместе выжить и для этого объединяют все доступные им источники дохода. Как правило, в домохозяйствах существует неравенство, и его структура довольно часто меняется, потому что кто-то рождается, а кто-то умирает, входит в домохозяйство или, наоборот, уходит из него, и, конечно же, все люди стареют, меняется их экономический статус. Что выделяет домохозяйства, так это обязанность обеспечивать доход для всех и право на часть совокупного продукта. Домохозяйства довольно сильно отличаются от кланов, племен или других больших разветвленных организмов, которые требуют от своих членов поддерживать всеобщую безопасность и идентичность, но регулярно делить доходы вовсе не нужно. Даже если бы и существовали большие группы, где доход был бы общим, для капиталистической системы они не были бы функциональны.

Давайте сначала обозначим, что мы понимаем под словом «доход». В современной миросистеме фактически существует пять видов дохода. И практически все домохозяйства стремятся получать доходы всех пяти видов, хотя и в разном соотношении, что в данном случае очень важно. Первое, что приходит в голову, это, конечно, заработная плата или доход от наемного труда, то есть вознаграждение (обычно в денежной форме), которое член домохозяйства получает за участие в производственном процессе вне домохозяйства. Такой доход может быть регулярным или периодическим. Зарплату платят за отработанное время (повременная зарплата) или за выполненную работу (сдельная). Зарплату можно платить «гибко», что очень выгодно для работодателя, поскольку объем работы всегда зависит от его нужд. Против этакой «гибкости» выступают профсоюзы, другие орга-

низации, защищающие права трудящихся, государство принимает различные законы, но все же работодатели почти никогда не обеспечивают доход своим работникам на всю жизнь. С другой стороны, такая система имеет и свои недостатки для работодателя, например, когда ему нужно нанять больше рабочих, их может не оказаться на рынке труда, особенно если экономика растет. Другими словами, система наемного труда устроена так, что работодатель не платит наемным рабочим, когда они ему не нужны, но и не имеет гарантии того, что сможет нанять рабочих, как только они ему понадобятся.

Второй, тоже вполне очевидный, источник доходов домохозяйств — это так называемое *натуральное хозяйство*. Обычно считается, что натуральным хозяйством занимаются только крестьяне, которые выращивают себе еду и вообще обеспечивают себя всем необходимым, минуя рынок, но такое представление слишком узко. Это лишь одна из разновидностей натурального хозяйства, причем в современной мирской системе такая форма производства встречается все реже; поговаривают даже, что она на грани исчезновения. Но, используя узкое определение, мы часто не замечаем другие виды натурального хозяйства, которых, впрочем, не так мало, и они-то как раз получили широкое развитие в современном мире. Если вы приготовили обед или вымыли дома посуду, значит, вы тоже — часть натурального хозяйства. Когда домовладелец сам собирает мебель, которую он купил в магазине, — это тоже натуральное хозяйство. Даже профессионалы высокого уровня задействованы в натуральном хозяйстве: ведь сейчас они сами пишут и отправляют письма по электронной почте, хотя раньше за них это сделала бы оплачиваемая секретарша. Как это ни странно, но сегодня значительная доля дохода многих домохозяйств в экономически

благополучных государствах капиталистической мирозкономики приходится именно на натуральное хозяйство.

Третий вид дохода домохозяйства можно назвать мелким товарным производством. Под мелким товаром мы подразумеваем продукцию, которую произвели внутри домохозяйства, но продают на рынке за наличные деньги. Конечно, такой вид производства все еще очень популярен в бедных районах мирозкономики, но его модификации можно встретить везде. В богатых странах такой тип производства принято называть внештатной работой, которая включает не только продажу произведенных товаров (к ним, естественно, относятся и плоды интеллектуального труда), но и мелкую розничную торговлю. Если на улице маленький мальчик продает сигареты или спички на штуку тем, кто не может себе позволить полную пачку сигарет или коробок спичек, можно смело сказать, что он занят мелким товарным производством, он распаковывает товар и везет его на рынок — в этом и заключается в его случае производственный процесс.

Четвертый тип дохода можно суммировать под общим названием «рента». Ренту можно взимать с крупных капиталовложений. Например, можно сдавать внаем городскую квартиру или комнаты в квартире; или воспользоваться выгодным расположением и собирать, к примеру, плату за проезд по частному мосту; можно стричь купоны с ценных бумаг и получать процент на сберегательный вклад, то есть получать ренту с капитала. В целом рента — это доход, который приносит право собственности, а не труд.

И наконец, мы добрались до последнего, пятого, вида доходов, для которого в современном мире придумали название «трансфертные, или передаточные, выплаты». Схема выглядит так: один человек получает доход от другого че-

ловека на основании определенных обязательств, которые берет на себя последний. Подарки и ссуды от родственников разных поколений в честь дня рождения, свадьбы или смерти есть не что иное, как трансфертные выплаты, которые, как правило, поступают от близких к домохозяйству лиц. Чаще всего такие выплаты носят взаимный характер, так что по большому счету домохозяйство не получает дополнительного дохода, зато при помощи этих средств может решить какие-то насущные вопросы. В определенные моменты трансфертные платежи можно получить и от государства, хотя в этом случае человеку просто возвращают его собственные деньги; или по страховке, хотя в конечном результате человек может и выиграть, и проиграть; или даже через перераспределение средств от одного экономического класса другому.

Как только задумываешься об этом, становится ясно, что все мы прекрасно знаем, как домохозяйства получают свой совокупный доход. Представьте себе американскую семью среднего класса, в которой отец работает, может быть, даже на двух работах, мать тоже не сидит дома, а, скажем, развозит продукты, сын-тинэйджер торгует газетами, а двенадцатилетняя дочка нянчит детей. Прибавьте к этому бабушку-вдову, которая получает пенсию и время от времени сидит с соседским ребенком, и комнату над гаражом, которую семья сдает внаем и получает с нее ренту. Или представьте себе домохозяйство мексиканских рабочих, в котором отец нелегально эмигрировал в Соединенные Штаты и посылает домой свой заработок, мать обрабатывает участок земли, девочка-тинэйджер прислуживает в богатом доме и получает свой заработок деньгами и натурой, а младший сын после школы или вместо нее торгует на городском рынке всякими мелочами. При желании каждый сможет придумать уйму подобных примеров.

В реальной жизни почти все домохозяйства получают доходы всех пяти видов. Но тут же должен заметить, что внутри домохозяйства существует взаимосвязь между полом и возрастом человека и типом дохода, который он может приносить в семью. Долгое время считалось, что наемным трудом могут заниматься только мужчины в возрасте от четырнадцати — восемнадцати до шестидесяти — шестидесяти пяти лет. Натуральное хозяйство и мелкое товарное производство отводилось в основном женщинам, детям и пожилым людям. Государственные выплаты полагались главным образом лицам, получающим зарплату, за исключением специальных платежей по уходу за ребенком. Но последние сто лет ведется активная политическая борьба против привязки этих определений к полу человека.

Как мы уже отмечали, относительная значимость различных форм дохода сильно варьируется в разных домохозяйствах. Но можно выделить два основных типа домохозяйств: для одних доля дохода от наемного труда составляет 50 % и более от совокупного дохода домохозяйства, для других этот показатель гораздо ниже. Первый тип домохозяйства давайте назовем «пролетарским», потому что здесь налицо сильная зависимость от заработной платы (а именно это и подразумевает термин «пролетариат»), второй тип домохозяйства тогда будет называться «полупролетарским», потому что по крайней мере несколько членов такого домохозяйства получают зарплату. Разделив домохозяйства таким образом, становится ясно, что работодателю гораздо выгоднее нанимать себе работников из полупролетарских домохозяйств. Если зарплата составляет основную часть дохода домохозяйства, то обязательно существует и ее минимальный уровень, ниже которого член такого домохозяйства не сможет опуститься, устраиваясь на работу. Зарплата должна

по крайней мере составлять соразмерную долю восстановительной стоимости домохозяйства. Так, по нашему мнению, можно определить *абсолютный* минимум заработной платы. Однако если человеку посчастливилось жить в полупролетарском домохозяйстве, то он вполне может позволить себе получать зарплату *ниже* уровня абсолютного минимума, не подвергая при этом опасности существование всего домохозяйства. Разницу обеспечат другие источники дохода или другие члены домохозяйства, что случается чаще. На самом же деле происходит следующее: позволяя работодателю платить зарплату ниже минимального уровня, более высокооплачиваемые члены домохозяйства фактически увеличивают прибавочную стоимость, которую работодатель получает от труда человека с маленькой зарплатой.

Получается, что при капиталистической системе работодателям выгоднее нанимать работников из полупролетарских домохозяйств. Однако работодатели поступают по-другому и тому есть две причины. С одной стороны, сами наемные работники предпочитают статус пролетария, поскольку он обеспечивает им более высокую зарплату. С другой стороны, существует серьезное противоречие в положении самих капиталистов-работодателей, несмотря на единоличное желание каждого платить своим работникам как можно меньше, все вместе они должны поддерживать эффективный спрос, который бы обеспечил долгую жизнь их товарному рынку в рамках всей мирозкономики. Именно благодаря этим двум, казалось бы, очень разным причинам число пролетарских домохозяйств медленно, но растет. И тем не менее эта долговременная тенденция противоречит традиционному представлению социальной науки о капитализме как системе, которой в качестве рабочей силы требуются прежде всего пролетарии. Если бы это было на самом деле так, было бы

трудно объяснить, почему по прошествии четырехсот или даже пятисот лет у нас стало не намного больше пролетариев. Давайте не будем считать, что пролетариат нужен капиталистической системе, а посмотрим на него с другой стороны — как на сосредоточие борьбы, и тогда постепенный, но постоянный рост вполне оправдан: долговременная тенденция приближается к своей асимптоте.

В капиталистической системе существуют классы, что вполне естественно, поскольку люди занимают разные позиции в экономической системе, имеют разный доход и разные интересы. Например, совершенно очевидно, что в интересах рабочих добиваться повышения заработной платы, и также очевидно, что в интересах работодателей им в этом отказывать, по крайней мере в большинстве случаев. Но как мы только что видели, наемные работники живут в домохозяйствах, поэтому было бы бессмысленно причислять наемных работников к одному классу, а членов их домохозяйств к другому. Поэтому также очевидно, что к классам принадлежат домохозяйства, а не отдельные личности. Если же кто-то решает перейти из одного класса в другой, то, чтобы достичь такой цели, ему придется сначала перейти из своего домохозяйства в другое. Это непросто, но ни в коем случае не невозможно.

Домохозяйства, однако, можно позиционировать не только по принадлежности к тому или иному классу. Они существуют также внутри статусных групп, или идентичностей. (Когда говорят о статусных группах, главным становится то, как группу воспринимают со стороны, и это мнение считается объективным. Если речь заходит об идентичностях, прежде всего имеют в виду, как члены группы определяют сами себя, что, конечно, является мнением субъективным. Как ни назови, но такой институт реально существует в со-

временной миросистеме.) При рождении мы получаем приписное свидетельство той или иной статусной группы, или идентичности, мы в ней рождаемся или по крайней мере часто так думаем. Довольно трудно выбрать статусную группу по собственному желанию, хотя нет ничего невозможного. Существует множество статусных групп, или идентичностей, и все мы в них входим, потому что речь здесь идет о нациях, расах, этнических группах, религиозных сообществах, но в то же время о полах и группах различной сексуальной ориентации. Большинство вышеперечисленных категорий часто считают пережитками, доставшимися нам от прежних несовременных времен. Но такая предпосылка отнюдь не верна. Роль статусных групп, или идентичностей, в современном мире очень высока. Статусные группы и не думали отмирать, наоборот, по логике развития капиталистической системы, которая захватывает нас все больше, получается, что их значимость будет только увеличиваться.

Мы определили, что если домохозяйство принадлежит к определенному классу, то, соответственно, и все члены этого домохозяйства принадлежат к тому же классу, справедливо ли это для статусных групп, или идентичностей? Домохозяйства из всех сил стараются сохранить общую идентичность, делают все возможное, чтобы оставаться частью одной статусной группы, одной идентичности. Самое сильное давление прежде всего испытывают на себе люди, решившие вступить в брак, потому что от них все домохозяйство ожидает и даже требует, чтобы избранник был из той же статусной группы, или идентичности. Но, конечно же, в современной миросистеме люди не сидят на месте, к тому же существует нормативное давление, которое заставляет людей пренебрегать членством в статусной группе, или идентичности, и руководствоваться меритократическими соображе-

ниями, поэтому в современных домохозяйствах часто уживаются представители различных идентичностей. И все же во всех домохозяйствах наблюдается одна и та же тенденция: все стремятся прийти к единой идентичности, создать новые, подчас даже четко не сформулированные статусные идентичности, которые воплотили бы смешение идентичностей, а значит, и объединили бы домохозяйство под единым статусом. Требование разрешить однополые браки ведь тоже отчасти решает задачу объединения идентичности таких домохозяйств.

Почему же так важно, чтобы домохозяйства принадлежали к одному классу и к одной статусной группе или по крайней мере чтобы притворялись, что принадлежат? При такой однородности легче поддерживать единство домохозяйства, легче получать доходы и преодолевать центробежные силы, которые время от времени появляются, потому что внутри домохозяйства существует неравенство при распределении потребления и при принятии решений. Но было бы ошибкой рассматривать эту тенденцию в первую очередь как механизм внутренней защиты группы. Тенденции к уравниванию внутри структуры домохозяйств имеют свои плюсы и для всей миросистемы вместе взятой.

Домохозяйство — это прежде всего социализирующее агентство миросистемы. Домохозяйство прививает всем нам, но в особенности людям молодым навыки социальной жизни, учит уважать ее правила и следовать им. Конечно, за домохозяйствами стоят школа и армия, религиозные институты и средства массовой информации, но ни один из этих институтов по силе воздействия не может сравниться с домохозяйством. Но что определяет, как домохозяйство подготовит своих членов к жизни в обществе, как социализирует их? То, какие задачи вторичные институты ставят перед домохо-

зяйствами, а также то, как домохозяйства с этими задачами справляются, во многом зависит от относительной однородности домохозяйств, от того, понимают ли они свою роль в исторической социальной системе. Если домохозяйство ясно осознает свою статусную идентичность (свою национальную принадлежность, расу, религию, этнос, имеет определенный код сексуального поведения), такое домохозяйство точно знает, как социализировать своих членов. Если домохозяйство еще не определилось со своей идентичностью, но стремится к однородности, стремится создать пусть даже новую идентичность, такое домохозяйство справится с задачей социализации почти так же хорошо. Однако если домохозяйство открыто признает факт раскола идентичности, оно не сможет выступить социализирующим агентством и скорее всего не сможет выжить как группа.

Власти, существующие в социальной системе, естественно, рассчитывают на то, что процесс социализации приведет к принятию всех существующих иерархий, которые тоже порождает система. Еще они очень надеются, что социализация поможет интернализации мифов, риторики и теоретической базы системы. Так оно и бывает, но только отчасти, никогда полностью. Домохозяйства прививают своим членам дух протеста, учат их уходить от системы и знакомят с другими вариантами девиантного поведения. Но, будьте уверены, даже такая антисистемная социализация до определенной степени системе полезна, поскольку дает выход неугомонным порывам, сохраняя относительное равновесие для всей системы. В данном случае примеры отрицательной социализации очень мало влияют на жизнедеятельность системы, но, как только в исторической системе намечается структурный кризис, вот тут-то антисистемная социализация и приобретает крайне дестабилизирующую для всей системы роль.

До сих пор мы упомянули лишь два альтернативных вида коллективного самовыражения домохозяйства — через принадлежность к классам и через принадлежность к статусным группам. Но, естественно, существует великое множество статусных групп, и они далеко не всегда находятся в согласии друг с другом. Более того, с течением времени количество и разнообразие этих групп не уменьшается, а только растет. В конце XX века, например, люди принялись создавать новые идентичности, основываясь на своих сексуальных предпочтениях, хотя в прошлые века при создании домохозяйства руководствовались другими принципами. Все мы принадлежим одновременно ко многим статусным группам, или идентичностям. Возникают вопросы: какие из них главные, а какие второстепенные? Что должно быть главным в случае конфликтов? А что превалирует на самом деле? Может ли домохозяйство быть однородным по одному признаку и неоднородным — по другому? Конечно, ответ на этот последний вопрос: да. Но давайте посмотрим, что из этого выйдет.

Нельзя оставлять без внимания факторы, влияющие на домохозяйства извне. Статусные группы в большинстве своем создают междомохохозяйственные учреждения, назовем их так. И эти учреждения напрямую влияют на домохозяйства, причем не только следят за тем, чтобы домохозяйства соблюдали правила группы и придерживались ее стратегии, но и определяют приоритеты. Из всех междомохохозяйственных учреждений самым успешным для влияния на домохозяйства оказалось государство, поскольку у него есть все необходимые инструменты давления: закон, существенные блага для раздачи народу, возможность привлекать средства массовой информации. Но там, где государство утрачивает силу, его место тут же занимают религиозные, этнические организации или другие подобные структуры, которые, в свою

очередь, определяют для домохозяйств систему ценностей. Даже если статусные группы, или идентичности, заявляют о своем антисистемном характере, они все равно могут соперничать с другими антисистемными группами, которые для домохозяйств важнее. Именно неразбериха с идентичностями домохозяйств питает американские горки политической борьбы в современной миросистеме.

Сложные взаимоотношения, существующие в современной миросистеме, отношения между фирмами, государствами, домохозяйствами и междомохохозяйственными учреждениями, которые связывают представителей разных классов и статусных групп, определяют две противоположные, но в то же время дополняющие друг друга идеологии: с одной стороны — это универсализм, а с другой — дискриминация по расовому и половому признакам.

Тему универсализма прочно связывают с современной миросистемой. Это во многом предмет гордости нашей миросистемы. По-хорошему универсализм означает, что общие правила едины для всех, а потому в большинстве сфер жизнедеятельности не существует отдельных предпочтений. Универсализм признает лишь четко сформулированные правила, абсолютно необходимые для того, чтобы миросистема работала правильно.

Проявлений универсализма существует великое множество. Например, в фирмах или учебных заведениях универсализм проявляется в том, что должности распределяются в зависимости от квалификации и способностей соискателей, по-другому это еще называется меритократией. Универсализм проявляет себя и на уровне домохозяйства: так, например, брак принято заключать «по любви» и не принимать во внимание материальное положение избранника, его этническую принадлежность и тому подобные частности. На уровне го-

сударства тоже действуют универсальные правила, например, равенство всех пред законом и всеобщее избирательное право. Нам всем знакомы эти правила, поскольку общественность повторяет их с завидным постоянством. Именно на освоение этих правил должна быть направлена наша социализация. Естественно, нам так же хорошо известно, что в разных уголках земного шара эти правила воспринимают по-разному (и мы еще поговорим о том, почему так происходит); к тому же мы прекрасно знаем, что на практике соблюдаются далеко не все правила. Но свод этих правил стал прямо-таки официальной библией современности.

Универсализм — норма положительная, а это значит, что большинство людей верят в него и практически все признают его достоинства. С дискриминацией по расовому и половому признакам дело обстоит как раз наоборот. Это тоже нормы, но нормы негативные, и многие никогда не признаются, что придерживаются их. Почти каждый скажет, что дискриминация — зло, но это все же и норма. Более того, проявления дискриминации по расовому и половому признакам встречаются так же часто, а на самом деле намного чаще, чем добродетельные проявления универсализма. Вам кажется, что это ненормально. Отнюдь.

Давайте посмотрим, что мы имеем в виду, говоря о дискриминации по расовому и половому признакам. Термин стали широко применять только во второй половине XX века. Дискриминация по расовому и половому признакам отражает явление, которому и названия-то не придумано. Давайте назовем его «антиуниверсализм». Речь здесь идет об активной институциональной дискриминации всех лиц определенной статусной группы, или идентичности. Каждая идентичность имеет свое социальное положение. Классификация может быть или совсем простой и состоять всего из двух сту-

пенек, или сложной, составляющей целую лестницу. Но обязательно есть группа на самом верху и группа или несколько групп — в самом низу. Существуют всемирные и местные лестницы рангов превосходства, и те и другие имеют колоссальное влияние на жизнь людей и на деятельность капиталистической мирозкономики.

Всемирные ранги превосходства современной миросистемы всем хорошо известны: мужчины имеют превосходство над женщинами, белые — над черными (или цветными), взрослые — над детьми (или стариками), образованные — над менее образованными, гетеросексуалы — над гомосексуалами и лесбиянками, буржуа и профессионалы — над рабочими, городские жители — над сельскими. Этническое ранжирование имеет более локальный характер, но в каждой стране существует основной этнос, за которым уже следуют остальные. Классификация по религиозной принадлежности тоже в значительной мере зависит от местности, но везде люди точно знают свое место. А национализм обычно берет на себя функцию связующего звена, сплавляя отдельные стороны всех этих антиномий в единую категорию, и появляется, например, норма, в соответствии с которой белый мужчина гетеросексуал определенной этнической и религиозной принадлежности считается единственным «истинным» представителем нации.

Из всего сказанного выше возникают вполне закономерные вопросы. Какой смысл одновременно признавать и принципы универсализма и антиуниверсализма? Почему существует столько разновидностей антиуниверсализма? Нужна ли современной миросистеме эта противоречивая антиномия? Действительно, и универсализм и антиуниверсализм встречаются в нашей жизни каждый день, но их принципы действуют в разных плоскостях. Универсализмом как основ-

ным оперативным принципом пользуется прежде всего так называемый кадровый состав миросистемы, к нему нельзя отнести ни тех, кто находится на вершине власти и богатства; ни тех, кто во всем мире составляет подавляющее большинство рабочей силы; ни простых людей, занятых в самых разных отраслях. Кадры миросистемы составляют люди, которые занимают ведущие и контролирующие посты в различных учреждениях, то есть находятся между двумя обозначенными выше категориями. Именно норма диктует, как правильно нанять на работу техников, специалистов или ученых. Размер этой промежуточной группы может варьироваться в зависимости от места, отведенного государству в современной миросистеме, и от политической обстановки в стране. Чем сильнее экономика государства, тем больше эта группа. Как только где-нибудь в миросистеме даже кадровый состав перестает руководствоваться принципами универсализма, наблюдатели усматривают неполадки в системе, и немедленно и внутри страны, и в других уголках земного шара начинают работу механизмы политического давления, призванные восстановить хотя бы в каком-то приближении былое положение вещей.

Тому есть две различные причины. С одной стороны, существует убеждение, что универсализм обеспечивает компетентную деятельность, а соответственно, и более эффективную мироэкономику, которая, в свою очередь, создает благоприятные условия для накопления капитала. Поэтому тот, кто контролирует производственные процессы, будет обязательно продвигать принципы универсализма. Конечно же, идеи универсализма вызывают некое отторжение, когда приходят на смену более узким критериям. Если на должность в какую-нибудь государственную контору набирают только представителей определенной этнической

группы или религии, то можно считать, что внутри этой категории выбор универсален, хотя вся ситуация развивается не по принципам универсализма. Возмущение может возникнуть и в том случае, если принцип универсализма вступает в силу только в момент отбора, игнорируя, например, такой частный факт, что соискатель прошел предварительный курс обучения. И, даже когда отбор от начала до конца отвечает принципам универсализма, все равно есть место обидам, потому что отбор подразумевает исключения, более того: кто-то может получить должность и без отбора, а просто при помощи общественного нажима. При таком многообразии ситуаций принципы универсализма играют важную социально-психологическую роль, узаконивая меритократию. Именно благодаря универсализму люди, вошедшие в кадровый состав миросистемы, чувствуют, что заслужили свое положение; достигнув этого статуса, они могут забыть о том, что принципы универсализма соблюдались далеко не всегда, и не обращать внимания на претензии всех остальных на материальные блага, которые достаются в первую очередь кадровому составу. Универсализм как норма очень удобен тем, кто умеет извлекать выгоду из системы. Универсализм заставляет их чувствовать, что они заслужили то, что имеют.

С другой стороны, дискриминация по расовому и половому признакам, а также другие проявления антиуниверсализма выполняют очень важные задачи, определяя место труда, власти и привилегий в современной миросистеме. Складывается впечатление, что они предполагают исключения из социальной жизни. Но на самом деле антиуниверсализм практикует включения, но включения на низших ступенях социальной лестницы. Нормы антиуниверсализма оправдывают положение нижестоящих слоев, закрепляют

это положение и умудряются сделать его приятным для тех, кто его занимает. Нормы антиуниверсализма преподносятся как некие естественные, вечные истины, не подверженные никаким социальным переменам. Их представляют даже не как культурные данности, а как биологические потребности жизнедеятельности человека-животного, и происходит это не только завуалировано, но и вполне открыто.

Это стало нормой для государства, места работы, всей социальной арены. Но эти нормы прижились и в домохозяйствах, их прививают людям с детства, и такой вид социализации в целом оказался вполне успешным. Принципами антиуниверсализма удобно объяснять полярность миросистемы. А поскольку полярность со временем только увеличивается, растет и значимость расизма, сексуальной дискриминации и других форм антиуниверсализма, и это, несмотря на то, что политическая борьба с такими проявлениями стала одной из главных задач миросистемы.

И в заключение хотелось бы подчеркнуть, что центральной, основополагающей чертой структуры современной миросистемы является одновременное существование и распространение принципов универсализма и антиуниверсализма. Этот парадоксальный дуэт так же существен для системы, как и разделение труда по оси «ядро-периферия».

### 3. ВОЗНИКНОВЕНИЕ МНОГОГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ *Национальные государства, колонии и межгосударственная система*

Современное государство означает суверенное государство. Концепцию суверенитета изобрели в современной миротсистеме. Прежде всего в суверенном государстве должна быть совершенно самостоятельная государственная власть. Но фактически все современные государства существуют в постоянном взаимодействии с другими государствами, что получило название межгосударственной системы. И нам нужно понять степень этой предполагаемой самостоятельности и что под ней подразумевается. Историки свидетельствуют, что в конце XV века, то есть в момент зарождения современной миротсистемы, в Англии, Франции и Испании появились «новые монархии». Считается, что межгосударственная система появилась в Италии в период Возрождения (тогда там активно развивались дипломатические отношения) и была институционально закреплена Вестфальским миром в 1648 году. Вестфальский мир, подписанный почти всеми государствами Европы, систематизировал определенные правила межгосударственных отношений, ограничивая и в то же время гарантируя государствам относительную самостоятельность. Дальше проработкой и доработкой этих правил занялось международное право.

Новые монархии были структурами централизующими, а это значит, что они всячески стремились держать местные властные структуры в подчинении абсолютной власти монарха. Для этого они усиливали, а на самом деле создавали

гражданскую и военную бюрократию. Но решающим моментом для усиления монархии стало право налогообложения, причем не менее важно и то, что теперь на службе у монарха было достаточно служащих, чтобы эти налоги собирать.

В XVII веке правители новых монархий объявили себя «абсолютными» монархами. Судя по названию, можно предположить, что их власть была безгранична. На самом же деле их власть вовсе не была безграничной, более того, они вообще не обладали практически никакой властью. Абсолютные монархи просто заявляли о своем праве на безграничную власть. Термин «абсолютный» происходит от латинского слова *absolutus*, значение которого подразумевало не то, что монарх всесилен, а то, что он неподвластен законам (избавлен от них), а соответственно, никто не имел права запретить ему делать то, что он считал нужным. Конечно, такая власть была деспотичной, но это отнюдь не значит, что у монархов была реальная власть: ее-то как раз, как мы уже говорили, было довольно мало. Естественно, монархи веками боролись именно за реальную власть, и надо сказать, что им многое удалось сделать. Именно поэтому одной из долговременных тенденций современной миросистемы с самого начала ее существования (и по крайней мере вплоть до 1970-х годов, как мы еще увидим ниже) стало медленное, но постоянное укрепление реальной государственной власти. Реальная власть — это возможность претворять в жизнь свои решения. А теперь давайте сравним реальную власть французского короля Людовика XIV, правившего с 1661 по 1715 год, которого принято считать архисимволом абсолютной власти, и, скажем, премьер-министра Швеции в 2000 году: очевидно, что у премьер-министра гораздо больше реальной власти в Швеции 2000 года, чем у Людовика во Франции 1715 года.

Основным инструментом монархов для укрепления собственной реальной власти было создание бюрократии. А поскольку у государей поначалу не было средств, чтобы платить бюрократам (позже им эти деньги стали приносить налоги), они придумали отдавать на откуп должности, получив при этом и бюрократов, и дополнительную прибыль в казну, а вместе с этим и больше власти. Хотя власти у монархов было еще очень мало, особенно по сравнению с тем временем, когда они стали нанимать бюрократов напрямую, но это произошло позже. Как только правители взяли на службу бюрократов, они тут же взяли под государственный контроль все политические функции: сбор налогов, суды, законотворчество и силовые структуры, полицию и армию. В то же время они делали все возможное, чтобы уничтожить или по крайней мере ограничить влияние местной знати в тех же сферах. К тому же монархам нужно было создать систему информирования, чтобы обеспечить уважительное отношение к своим намерениям. Французы разработали институт префектов, которые представляли власть центра на различных уголках страны, и эту систему в различных вариациях переняли практически все современные государства.

Понятие суверенности означало претензии на власть не только внутреннюю, но и внешнюю, то есть на власть по отношению к другим государствам. Прежде всего государству нужно было закрепить границы, в пределах которых оно могло рассчитывать на эту суверенность, и потому никакое другое государство уже не имело права насаждать там никакую свою власть — ни исполнительную, ни законодательную, ни судебную, ни военную. Естественно, одни государства не хотели, чтобы другие государства «вмешивались» в их внутренние дела, и все это хорошо понимали, уважали

это право, но вмешивались. К тому же границы можно было и изменить, поэтому территориальные претензии одних государств к другим возникали регулярно. Практически всегда, в любой момент времени, что-то происходило вокруг границ, внутри которых существовало суверенное государство.

У суверенитета есть еще одна основополагающая черта. Это претензии, а претензии мало значат, пока их не признают другие. Другие могут *не уважать* эти претензии, но гораздо важнее, чтобы они *признавали* их официально. Суверенитет, как ничто другое, нуждается в законности. А в современной миросистеме законность суверенитета требует взаимного признания. Суверенитет — это гипотетический обмен, в котором участвуют две потенциально, или реально, конфликтующие стороны, уважающие при этом существующий расклад сил: для них признание друг друга является наименее затратным стратегическим шагом.

На фундаменте взаимного признания стоит вся межгосударственная система. В истории часто появлялись государства, которые объявляли о своей независимости, но другие государства отказывались их признавать. А без признания объявление независимости практически не имеет смысла, даже если новому образованию удастся удерживать контроль над территорией. Государство без признания находится в опасности. Но, как правило, большинство стран все же получает признание других. Бывают, конечно, мнимые государства, которые не признает никто, кроме одного или двух государств-патронов, но таких случаев мало. Сложнее всего в тех случаях, когда многие государства признают новое образование, но в то же время многие не хотят его признавать. Такие ситуации возникают в результате отделений или революционных смен режимов. Такой раскол создает проблемы и трения в межгосударственной системе,

и, конечно, государства в конце концов стараются тем или иным путем выйти из сложившейся ситуации.

Мы легко найдем три примера, чтобы проиллюстрировать все многообразие возможных ситуаций в миросистеме первого десятилетия XXI века. Соединенные Штаты и Куба, хотя и политически враждебны друг другу, но не оспаривают суверенитет друг друга; не делают этого, впрочем, и другие. Второй пример: Китай в 1949 году был провозглашен Народной Республикой, новое правительство захватило контроль над материковой частью страны, а старое — отступило на остров Тайвань, но при этом все еще объявляло себя носителем суверенной власти всей Китайской Республики. При этом возникла именно та сложная ситуация, когда часть мира признавала одно правительство, а другая часть — другое. Проблему удалось решить только в 1970-е годы, когда Организация Объединенных Наций предоставила Китайской Народной Республике место в Генеральной Ассамблее и Совете Безопасности, и отозвала мандат Китайской Республики, которая де-факто контролировала только Тайвань. Практически одновременно Соединенные Штаты, а за ними многие другие страны признали власть Народной Республики над единым Китаем; контроль прежнего правительства над Тайванем, однако, никто не тронул. После этого осталось лишь несколько в основном маленьких стран, которые продолжали признавать легитимность власти Китайской Республики, но подавляющее большинство было уже на стороне Китайской Народной Республики. Для иллюстрации третьего варианта приведем пример Турецкой Республики Северного Кипра, которая объявила о своей независимости и реально контролировала северную часть острова. Суверенным государством ее признала только Турция. А потому международного признания новообразова-

ние не получило, и весь мир по-прежнему признает власть суверенного Кипра над территорией, захваченной Турецкой Республикой Северного Кипра. Если бы не сильная, в основном военная, помощь Турции, Турецкая Республика Северного Кипра быстро бы прекратила свое существование. Все три примера наглядно показывают, какое значение имеет взаимное признание государств.

Давайте посмотрим еще на одну ситуацию, гипотетическую, конечно, но вполне возможную. Предположим, что, придя впервые к власти в 1976 году, Парти Квебекуа (*Parti Québécois*) немедленно объявила бы Квебек независимым государством. Это, собственно, и было главным пунктом программы партии. Еще предположим, что правительство Канады яростно бы воспротивилось и стало применять политические, а возможно, и военные меры. Новое государство могла бы признать Франция, Великобритания бы отказалась это сделать, а Соединенные Штаты постарались бы сохранять нейтралитет. Что бы тогда произошло и стал бы Квебек суверенным государством?

Принцип взаимности действует и внутри страны, хотя в данном случае мы пользуемся другими словами. Местные власти должны признавать суверенную власть центра, а центр в каком-то смысле должен признавать легитимность властей на местах и определять круг их полномочий. Во многих странах принцип такого взаимного признания закрепляют конституция или особые законы, в которых разграничены полномочия центральной и местной власти. Хотя такой договор можно и не соблюдать, что часто и происходит. Если между сторонами возникают серьезные противоречия, дело может обернуться гражданской войной. В такой войне может победить центр, а может — и местная власть, и вот тогда существующие правила разделения властных полномочий могут

быть пересмотрены для всего государства или же от него могут отделиться одно или несколько новых государств, которые затем будут поднимать перед мировым сообществом вопрос о признании их суверенитета. Распад Югославии — хороший тому пример: распад государства не решил многие проблемы границ и автономий, так что и десять лет спустя продолжают споры.

Суверенитет является законным требованием, которое имеет серьезные политические последствия. Именно из-за этих последствий вся политическая борьба — и внутригосударственная, и межгосударственная — сосредоточена главным образом вокруг вопроса суверенитета. С точки зрения предпринимателей капиталистической мироэкономики, суверенные государства контролируют по крайней мере семь важнейших для них направлений: 1) государства определяют правила, в соответствии с которыми товары, капитал и рабочая сила могут пересекать их границы; 2) они создают правила, касающиеся прав собственности внутри страны; 3) они создают правила, относительно найма на работу и размера вознаграждения работников; 4) они решают, какие издержки фирмы должны взять на себя; 5) они определяют, какие экономические процессы можно монополизировать и до какой степени; 6) они собирают налоги; 7) и, наконец, если государства могут влиять на фирмы, расположенные на их территории, значит, они могут использовать свою власть и вне страны и влиять на решения других государств. Список длинный, но и бегло взглянув на него можно понять, что политика государства имеет для фирм колоссальное значение.

Ключом к пониманию капиталистической мироэкономики является понимание взаимоотношений государства и предпринимателей. Официально большинство капиталистов придерживается идеологии невмешательства (*lais-*

sez-faire), согласно этой доктрине государство не должно вмешиваться в деятельность предпринимателей на рынке. Но нужно понимать, что это лишь общее правило: хоть предприниматели и отстаивают принцип невмешательства, в реальности им вовсе не хочется, чтобы его применяли на деле, по крайней мере не полностью, и, уж конечно, предприниматели порой поступают так, как будто и вовсе не считают эту доктрину состоятельной.

Начнем, пожалуй, с границ. В теории суверенное государство имеет право решать, кто и что может пересекать его границы и на каких условиях. Чем сильнее государство, тем больше его бюрократический аппарат, а соответственно, больше возможностей оказывать влияние на трансграничные сделки. Существует три основных вида трансграничных сделок — это движение товаров, капитала и людей. Продавцам хочется, чтобы их товары беспрепятственно и беспошлинно пересекали границы. С другой стороны, продавцы-конкуренты внутри страны предпочли бы, чтобы их государства ввели квоты и пошлины, а их собственные товары субсидировали. Любое решение, которое принимает государство, благоприятствует тому или иному предпринимателю. Нейтралитета в данном случае не бывает. То же самое можно сказать и о движении капитала.

Пристальнее всего государство наблюдает за передвижением людей через границы, что также напрямую касается фирм постольку, поскольку касается работников. В соответствии с простой краткосрочной моделью спроса — предложения наплыв рабочей силы из-за границы является рыночным плюсом для предпринимателей принимающей страны и рыночным минусом для проживающих там рабочих. Такая картина не учитывает двух важных аспектов, о которых в данном случае не стоит забывать: во-первых, тот отпеча-

ток, который оставляет иммиграция на социальной структуре любого государства и, во-вторых, роль иммиграции в долгосрочной перспективе, а она может быть вполне позитивной, даже если в краткосрочной ее и воспринимают негативно, по крайней мере некоторые. И снова нейтральной позиции в данном случае быть не может.

Конечно, центральным для капиталистической системы является вопрос о правах собственности. Стали ли бы вы бесконечно накапливать капитал, если бы не могли сохранить накопленное? А так законы, закрепляющие права собственности, ограничивают возможности государства забирать у вас деньги, не дают возможности дальним родственникам претендовать на какую-то долю вашего капитала и вообще мешают всем тем, кто хочет просто украсть ваши деньги. Помимо этого капиталистическая система работает при минимальном уровне взаимного доверия к честности сделок, поэтому одним из главных социальных требований является недопущение обмана. Все это настолько очевидно, что, кажется, и говорить об этом не стоит. Но, конечно, главным защитником прав собственности выступает государство, и только оно имеет законное право устанавливать правила. Вполне очевидно, что эти правила отнюдь не совершенны, и, уж конечно, можно поспорить о том, насколько защищены права собственности. Разногласия приводят к конфликтам, разбираться с которыми должны государственные суды. Но все равно без некоторой гарантированной защиты со стороны государства капиталистическая система вообще не смогла бы существовать.

Предприниматели часто дают понять, что есть одна сфера, куда им меньше всего хотелось бы, чтобы вмешивалось государство со своими правилами, — это трудовые отношения. Их всегда очень беспокоят вопросы отношений с людьми, кото-

рых они нанимают — размеры заработной платы, условия работы, продолжительность рабочей недели, гарантии безопасности, правила найма и увольнения. Рабочие, наоборот, всегда настаивали и продолжают настаивать на вмешательстве государства в те же самые вопросы, потому что только таким образом, по их мнению, можно добиться приемлемых условий труда. Понятно, что в краткосрочной перспективе государственная поддержка укрепляет позиции работников в конфликтах с работодателями, поэтому работники обычно на нее согласны. Но постепенно и многие работодатели приходят к выводу, что в долгосрочной перспективе это выгодно и им, потому как государственное вмешательство в трудовые отношения может обеспечить стабильное предложение рабочей силы, создать эффективный спрос и сократить социальное напряжение. Так что по крайней мере крупные предприниматели, которые работают с прицелом на далекое будущее, могут только приветствовать такую поддержку, если государство ее оказывает — в разумных пределах, разумеется.

Государство играет решающую роль еще в одном аспекте, который не так бросается в глаза, а между тем именно государство определяет долю издержек, которую платит непосредственно фирма. Экономисты часто говорят о том, что производители выводят издержки за скобки своего баланса. А это значит, что определенная доля издержек производства не отражается в балансе производства, а ложится на плечи некоего внешнего субъекта, точнее, общества. Может показаться, что сама возможность вывода издержек за скобки противоречит основному принципу капиталистической деятельности. Предположительно фирма производит что-то ради прибыли, прибыль составляет разницу между выручкой от продаж и издержками производства. Получается, что

прибыль — это награда за эффективное производство. Отсюда следует неявное предположение, оно же моральное оправдание прибыли, что производитель оплачивает все издержки.

На практике, однако, все обстоит не так: чтобы иметь хорошие прибыли нужно не только наладить эффективное производство, но и заручиться поддержкой государства. Мало кто из производителей действительно оплачивает все издержки своего производства. Первым делом производители избавляются от трех видов издержек, причем совершенно разных: затрат на токсичность, на истощение ресурсов и на транспорт. Практически не бывает нетоксичных производственных процессов, то есть все они причиняют вред окружающей среде, выбрасывают отходы переработки материалов или химические отходы или просто постепенно изменяют экологическую обстановку вокруг. Самый дешевый способ для производителя избавиться от отходов производства — просто выбросить их за пределы своей собственности. А самый дешевый способ справиться с экологическими изменениями вокруг — притвориться, что ничего не происходит. И то и другое уменьшает непосредственные издержки производства. Но это и называется выносом издержек за скобки, потому что либо сейчас, либо, как часто бывает, много позже кому-то придется платить за негативные последствия этого производства, убирать отходы и восстанавливать экологию. А этот кто-то и есть все общество: за все заплатят налогоплательщики посредством государства.

Другой способ сократить издержки производства, как мы уже говорили, заключается в том, чтобы не замечать истощения запасов сырьевой базы. По большому счету каждому производству нужно какое-то сырье, органическое или неорганическое, и можно сказать, что «конечный» продукт, кото-

рый производитель продает на рынке, появляется в процессе трансформации этого сырья. Запасы сырья не бесконечны: некоторые исчезают довольно быстро, другие — очень медленно, а большинство — не быстро и не медленно, а с какой-то средней скоростью. И снова придется повторить, что почти никогда предприятия не принимают на себя издержки по восстановлению этих ресурсов. И в конце концов перед миром встает вопрос: отказаться от использования этого сырья или попытаться каким-то образом восстановить его запасы? Часто на выручку приходят инновации, и тогда получается, что при отказе от восстановления экономические затраты человечества чрезвычайно малы или вообще равны нулю. Но во многих случаях это просто невозможно, и вот тогда за дело снова берется государство, перед которым стоит задача восстановить или воссоздать израсходованный ресурс, и оплачивать этот процесс явно будут не те, кто, попользовавшись этим ресурсом, получил прибыль. Есть хороший пример, наглядно иллюстрирующий описанную выше ситуацию: это мировые запасы леса, которые методично истощаются, но никто никогда не занимался планомерным восстановлением этого ресурса. Леса в Ирландии, например, вырубали еще в XVII веке. На протяжении всей истории современной миросистемы мы вырубали леса по всему миру и не восстанавливаем их. Поэтому сегодня мы так рьяно обобщаем, что же будет, если исчезнет *последний* оставшийся массив дождевого леса в бассейне Амазонки в Бразилии.

И наконец, мы подошли к транспортным расходам. Конечно, вы скажете, что компании платят за перевозку грузов, но редко кто платит полную стоимость. Создание транспортной инфраструктуры — мостов, каналов, железных дорог, аэропортов — стоит очень дорого, и эти расходы, как правило, лежат не на фирмах, которые пользуются этой инфраструктурой.

турой, а на всем обществе. Если бы не обильные государственные вливания, инфраструктуру вообще не удалось бы построить, потому что расходы на ее создание несоизмеримо больше той выгоды, которую получает каждая отдельная фирма. Возможно, я несколько преувеличиваю, но лишь для того, чтобы еще раз подчеркнуть роль государства в процессе бесконечного накопления капитала.

Мы уже говорили о роли, которую играют монополии или, скорее, квазимонополии для накопления капитала. Нельзя только забывать, что каждое решение, благодаря которому появляется возможность создать какую бы то ни было квазимонополию, одним приносит выгоду, а другим наносит урон. В данном случае, как и во многих других, государство не может себе позволить занимать нейтральную позицию, санкционируя накопление капитала, потому что капитал всегда накапливают определенные люди, фирмы или организации. В капиталистической системе никуда не уйти от конкуренции.

При обсуждении вопроса о «вмешательстве» государства в дела фирм чаще всего вспоминают о том, что государства собирают налоги. Ну, конечно, собирают: как бы они жили без налогов! Как мы отмечали, самым важным элементом при создании структур государства является не власть как таковая, а возможность эффективно собирать налоги. Говорят, что никто не любит платить налоги. Но на самом-то деле все как раз наоборот, хотя мало кто готов это признать. Все — и фирмы, и трудящиеся — многого ждут от своих государств в обмен на деньги, полученные от налогов. У людей в основном возникает только две проблемы с налогами. Во-первых, у них складывается такое чувство или, лучше сказать, подозрение, что государство использует эти деньги во-все не на нужды честных налогоплательщиков, коими мы

все себя считаем, а на нужды кого-то еще, например, политиков, бюрократов, конкурентов, бедных, даже иностранцев. Поэтому-то мы и хотим, чтобы налоги были ниже, а нецелевое использование этих денег и вовсе прекратилось. Вторая претензия к налогам совершенно оправдана, поскольку люди вполне могли бы потратить деньги, которые они отдают государству в качестве налогов, по собственному усмотрению, а так получается, что они передают контроль над этими средствами какому-то коллективному образованию, которое вместо них решает, как распорядиться деньгами.

На поверку оказывается, что большинство людей, как и большинство фирм, с удовольствием платили бы некий налоговый минимум, который, по их мнению, гарантировал бы каждому отдельному человеку или каждой отдельной фирме определенный минимум услуг, что отвечало бы их интересам. Но никто не хочет, да и не готов, платить больше налогов. И всегда очень трудно определить, какой же уровень налогов разумен, а какой нет, где проводить черту. У людей и фирм интересы совершенно разные, поэтому и к налогообложению они относятся по-разному. К тому же государство может выбирать не только размер налогов, но и методы налогообложения, и люди и фирмы, конечно же, предпочитают те методы, которые принесут им меньше вреда, а другим больше. Поэтому неудивительно, насколько четко определено все, что касается налогов, а налоговые войны ведут политики всего современного мира. По этому вопросу государство не может занимать нейтральную позицию, поскольку от его политики во многом зависит, кто выиграет, а кто проиграет.

До сих пор мы рассматривали, какую роль играет государство в жизни и деятельности предпринимателей только в пределах границ государства, то есть как явление сугубо

внутреннее. А между тем деятельность предпринимателей зависит не только от решений родного государства, но и от решений других государств, по крайней мере в том, что касается движения товаров, капитала и рабочей силы через границы, а это процесс постоянный и довольно объемный. Очень мало фирм могут позволить себе не обращать внимания на политику других государств. Но для большинства вопрос заключается в том, как им строить отношения с другими государствами, как действовать — напрямую или опосредованно. Если фирма решает действовать напрямую, значит, она должна вести себя как местная фирма и пускать в ход все те механизмы и аргументы, как если бы она была у себя дома, то есть взятки, политическое давление и обмен любезностями. Этого вполне может хватить, но, как правило, положение «иностранной» фирмы на местной политической арене крайне незавидно. Если эта «иностранная» фирма приехала из «сильного» государства, она вполне может обратиться к своему государству с просьбой оказать необходимое давление и заставить государство, где расквартирована фирма, прислушаться к требованиям иностранных предпринимателей. Вот этот процесс как раз и является главным в жизни межгосударственной системы. В последние тридцать лет XX века американские производители автомобилей и стали, а также авиакомпании без зазрения совести обращались к своему правительству с просьбой заставить Японию и Западную Европу изменить политику в пользу американских производителей и расширить права на трансокеанские перевозки американских товаров.

В любой стране подавляющее большинство живущих в домохозяйствах людей работают на фирмы или другие организации. Капиталистическая система устроена таким образом, что при дележе прибавочной стоимости одни обязательно

выигрывают, а другие проигрывают. Чем больше капитала отводится для накопления, тем меньше средств остается для вознаграждения тех, кто участвует в производственном процессе и собственно создает эту прибавочную стоимость. Жизнь вывела одно правило деления прибавочной стоимости: нельзя отдать 100 % одной стороне, а другой не дать ничего. Но и без этого в краткосрочной перспективе, да и в определенной степени в долгосрочной, спектр возможностей чрезвычайно велик.

Продолжая рассуждать логически, можно с уверенностью сказать, что борьба за распределение прибавочной стоимости не кончится никогда. Эту борьбу и называли классовой. Какой бы политический смысл вы ни вкладывали в понятие классовой борьбы, никуда не деться от этой аналитической категории; можно придумывать ей разные названия, но оставлять без внимания нельзя. Совершенно очевидно, что классовая борьба продолжается постоянно, и центральное место при распределении в пользу той или иной стороны принадлежит государству, хотя это явление намного сложнее и его нельзя сводить к бинарному распределению сил. Обе стороны выстраивают свою организацию таким образом, чтобы оказывать политическое воздействие на государство как структуру исполнительную и законодательную. Если хорошенько посмотреть на внутреннюю историю многих государств за весь период существования капиталистической мирозкономики, становится ясно, что прошло несколько веков, прежде чем рабочий класс смог обеспечить себе более или менее достойное место в политической игре и добиться каких-то результатов.

Поворотным моментом в истории, несомненно, является Великая французская революция, поскольку именно она принесла в геокультуру современной миросистемы серьез-

ные изменения, о которых мы уже упоминали раньше. После Французской революции перемены, политические перемены, стали воспринимать как нечто «нормальное», присущее природе вещей и даже желанное. Так, теория прогресса, центральная идея эпохи Просвещения, получила свое политическое воплощение. Во-вторых, Французская революция сменила ориентиры концепции суверенности, забрав власть у монарха, или законодателей, и передав ее народу. Но как только джинн народа-суверена вырвался из кувшина, заманить его обратно стало совершенно невозможно. И это оказалось всеобщим правилом для всей миросистемы.

Народ превратился теперь в «граждан», и это стало одним из основных последствий того, что власть перешла народу. Сегодня это кажется настолько естественным, что трудно даже представить себе, насколько радикален был переход от «подданных» к «гражданам». Быть гражданином означало наравне с другими гражданами иметь право участвовать в принятии основных государственных решений. Если все стали гражданами, значит, не было больше людей со статусом выше статуса гражданина: например, потерял свою значимость статус аристократа. Быть гражданином значило быть человеком рационально мыслящим, способным принимать политические решения. Логическим продолжением концепции гражданина стало введение всеобщего избирательного права. И, как показала политическая история последовавших 150 лет, избирательное право стали постепенно внедрять у себя все больше государств.

Сегодня практически любое государство на планете заявляет о том, что все его граждане равны и отправляют свой суверенитет через всеобщую избирательную систему. Все это, конечно, хорошо, только в действительности дело обстоит не совсем так. В большинстве стран только часть населения

в полной мере пользуется правами гражданина. Поскольку если сувереном является народ, то нужно определить, кто является народом, а как выясняется, далеко не все подходят под эту категорию. Существует достаточно исключений, которые большинству из нас кажутся вполне естественными: например, гражданами не являются те, кто приехал в страну на время, то есть приезжие; или люди, которые еще слишком молоды, чтобы иметь собственные суждения; наконец, немняемые. Ну а как быть с женщинами? Или с этническими меньшинствами? Или с неимущими? И с уголовниками, которые сидят в тюрьме? Стоит только начать перечислять исключения из понятия «народ», и список может получиться очень длинным. Концепция «народа» появилась как концепция включения, а очень скоро оказалось, что это скорее концепция исключения.

В результате на протяжении последующих двух веков вся национальная политика государств строилась вокруг этих включений и исключений. Те, кто был исключен, добивались, чтобы их включили, а включенные, наоборот, стремились сохранить права гражданина за узко очерченным кругом лиц, не желая впускать в него исключенных. А исключенные хотели, чтобы их услышали, и потому им пришлось наводить мосты для общения с этим кругом включенных. Проще говоря, они стали организовывать демонстрации, устраивать восстания, а иногда даже революции.

И в начале XIX века разгорелся серьезный стратегический спор между сильными мира сего. С одной стороны, многими руководил страх, и они считали, что такие выступления нужно безоговорочно подавлять, отказываясь тем самым от самой идеи народного суверенитета. Они называли себя консерваторами и превозносили «традиционные» учреждения — монархию, церковь, начальство и семью — как твер-

дыни на пути перемен. Но были и те, кто придерживался другой точки зрения, полагая, что стратегия консерваторов обречена на провал и, только признав, что *некоторых* перемен избежать не удастся, можно ограничить их объем и скорость. Эта группа называла себя либералами; в качестве идеального гражданина они видели человека образованного и считали, что только профессионалы обладают достаточной мудростью для принятия социальных и политических решений. Они обещали, что все остальные тоже постепенно получают все гражданские права, как только их образование позволит им делать разумный выбор. Приветствуя прогресс, либералы подгоняли определения таким образом, что «опасные классы» казались не такими уж опасными, а «достойные» члены общества играли ключевые роли в политической, экономической и общественной жизни. Естественно, была и третья группа — радикалы, которые отождествляли себя с антисистемными движениями, а по большей части возглавляли их.

Эта троица идеологий — консерватизм, либерализм и радикализм — появилась сразу после Великой французской революции. Самым удачливым из всех оказался либерализм центристского толка, который еще долгое время господствовал во всей миросистеме. Положение либерализма о том, что перемены можно корректировать, переняли повсеместно; благодаря этому удалось убедить и консерваторов и радикалов скорректировать их позиции, так что в результате и консерваторы и либералы на деле оказались воплощениями либералов-центристов.

На политику всех трех течений влияла сила государства, в котором они развивались. Все знают, что одни государства сильнее, чем другие. Но что имеется в виду под внутренне сильным государством? Конечно, силу не определяет

степень деспотичности и жестокости центральной власти, хотя многие часто руководствуются именно этим критерием. Деспотичное поведение государственных властей скорее говорит об их слабости, а вовсе не о силе. Гораздо чаще силу власти можно определить по тому, насколько выполняются ее законные решения. (Помните, мы раньше приводили в пример Людовика XIV против премьер-министра Швеции.) Очень просто оценить силу государства, сопоставив процент заявленных налогов с процентом того, что реально собирается и поступает в казну. Уход от налогов — беда повсеместная, но тем не менее существует огромная разница между тем, что собирают сильные государства (порядка 80 %) и слабые (ближе к 20 %). Низкие показатели можно объяснять слабостью бюрократии, а неспособность собирать налоги, в свою очередь, лишает государство средств на усиление этой бюрократии.

Чем слабее государство, тем меньше средств можно накопить, занимаясь экономически продуктивной деятельностью. Поэтому государственный аппарат становится одной из важнейших, а то и самой важной точкой в процессах обогащения путем жульничества и взяточничества на высоких и низких уровнях. Нельзя сказать, что этого не происходит в сильных государствах — происходит, но в слабых государствах это излюбленный метод накопления капитала, который к тому же отвлекает государства от занятий другими делами. Когда государственная машина нацелена на капиталистическое обогащение, обычная процедура смены власти отходит в сторону, а результаты выборов подтасовывают, если выборы вообще проводят, растет роль военных, потому что при смене власти без них, как правило, не обойтись. Теоретически на законных основаниях силу могут применять только государства, и им должна принадлежать монополия

на силу. Первыми проводниками этой монопольной силы являются военные и полицейские, и опять же в теории только государство имеет право их использовать. На практике же монополия государства на силу довольно размыта, и чем слабее государство, тем размытей монополия. Вследствие этого политическим лидерам очень трудно наладить и удержать эффективный контроль над страной, что, в свою очередь, увеличивает для силовиков соблазн взять исполнительную власть в свои руки, как только режим окажется не в состоянии обеспечить порядок в стране. Очень важно отметить, что происходит все это не из-за ошибок в политике, а из-за характерной слабости государственных структур в тех регионах, которым свойственны производственные процессы периферии, а они, как помните, являются плохими источниками накопления капитала. Если государство обладает ресурсами, которые дорого стоят на мировом рынке, то доход государства, по существу, является рентой, и здесь непосредственный контроль над аппаратом также гарантирует, что значительная часть этой ренты может просочиться в частные руки. Неудивительно, что в таких государствах часто случается так, что к власти приходят военные.

И наконец, не стоит забывать, что слабость государства подразумевает относительную силу местного начальства, различных магнатов и военачальников: контролируя военных, они вполне могут захватить власть в своей местности, а принадлежность к этнической традиционной верхушке или к аристократической семье часто позволяет им легализовать свое положение в глазах местного населения. XX век видел немало примеров того, как местные группировки инициировали национальное антисистемное движение в провинциях, но в процессе борьбы превращались, по сути дела, в феодалов местного значения. В таких местных вотчинах и зародился

новый, мафиозный, тип капиталистического предпринимательства. Любая мафия похожа на хищника, кормящегося за счет производственного процесса. Если имеются немонополизированные товары, которые приносят мало прибыли индивидуальному предпринимателю, нужно создать монополистическую воронку и пустить производственный процесс через нее, применив при этом силу, но не силу государства, и тогда на этом процессе кто-то сможет накопить значительный капитал. Всем хорошо известно, что мафия занимается торговлей нелегальной продукцией (наркотиками, например), но гораздо чаще мафия внедряется в производство абсолютно законных товаров. Естественно, заниматься капиталистической деятельностью в стиле мафии опасно, более того, по своему существу такой капитализм опасен для жизни самой мафии. Поэтому исторически сложилось так, что мафиози, которым удалось скопить капитал, пытаются отмыть свои деньги, часто уже в следующем поколении, и стать законопослушными предпринимателями. Но, конечно, как только государство теряет бдительность и контроль ослабевает, тут же появляются новые мафиозные структуры.

В подобных ситуациях государства, разумеется, пытаются восстановить свою власть, стать сильнее и свести на нет роль мафии; существуют разные методы и варианты, можно, например, сделать из народа «нацию». Не приходится сомневаться в том, что существование наций — это миф в том смысле, что все нации являются социальными образованиями и основная роль при их создании принадлежит государствам. Чтобы создать нацию, нужно восстановить ее историю и долгую хронологию (многое при этом приходится придумывать), а также определиться с набором характеристик, даже если далеко не всем в группе эти характеристики подходят.

К концепции национального государства следует относиться, как к асимптоте, к которой стремятся все государства. Некоторые государства уверяют, что они «многонациональны» и единая нация им не нужна, но даже они пытаются создать у себя некую идентичность, которая бы объединяла все государство. Хорошим примером был Советский Союз, когда он еще существовал, поскольку, заявляя о своей многонациональности, он в то же время продвигал идею единого советского народа. То же самое наблюдается в Швейцарии или Канаде. Национализм, возможно, является основной статусной идентичностью, поддерживающей современную миросистему, которая, в свою очередь, опирается на структуру суверенных государств, связанных межгосударственной системой. Национализм пусть самую малость, но цементирует государственные структуры. Если посмотреть повнимательнее, то становится ясно, что национализм характерен не только для слабых государств. На самом деле национализм наиболее силен в самых богатых странах, хотя публично к нему вызывают гораздо реже, чем в странах послабее. И снова повторю: если государственные лидеры публично муссируют тему национализма, значит, они пытаются сделать государство сильнее; это отнюдь не является показателем государственной мощи. Исторически сложилось так, что национализм в странах насаждают тремя способами: через систему государственных школ, через вооруженные силы и через общественные церемонии. Все три способа применяют постоянно.

Как мы уже подчеркивали, государства существуют в рамках межгосударственной системы, и их относительная сила заключается даже не в том, насколько эффективно они могут применять свою власть внутри страны, а насколько гордо смогут они держать голову в окружении конкурентов по ми-

росистеме. В теории все государства независимы, но сильным государствам намного проще «вмешиваться» во внутренние дела слабых, а вовсе не наоборот, и все хорошо об этом знают.

Сильные государства оказывают давление на слабых и не позволяют им закрывать границы на пути продвижения факторов производства, выгодных фирмам сильных государств. Отношения строятся таким образом, что слабые государства не могут рассчитывать на взаимность в ответ. Так, в ходе дебатов по вопросам мировой торговли Соединенные Штаты и Европейский Союз постоянно требуют от остальных государств открыть свои границы их товарам и услугам. Но сами они вовсе не собираются распахивать свои границы навстречу сельхозпродукции и текстилю из стран периферии, которые составят серьезную конкуренцию их собственной продукции. Сильные государства могут позволить себе привести к власти в слабых государствах приемлемых для них людей, которые позже вместе с ними будут давить слабые государства и добиваться, чтобы те придерживались политического курса, удобного сильным государствам. Сильные государства могут заставить слабых перенять определенную культурную политику, например, в том, что касается языкового устройства, системы образования, они диктуют, где учиться студентам, и особенно в том, что касается средств массовой информации, потому что именно им уготована роль моста между государствами в долгосрочной перспективе. Сильные государства заставляют слабых всюду следовать за собой и на международной арене, в международных организациях и договорах. И если сильные государства могут купить себе у слабых удобных политических лидеров, то слабые государства покупают себе защиту сильных, обеспечивая им свободное движение капитала.

Конечно, самыми слабыми государствами являются те, что мы называем колониями, то есть административные единицы, лишенные суверенитета и попавшие под юрисдикцию другого государства, обычно от него удаленного. Современные колонии возникли в результате экономического роста миросистемы. В то время, когда росла миросистема, сильные государства ядра пытались вовлечь новые территории в процессы, протекающие в современной миросистеме. Иногда они наталкивались на бюрократические системы, которым хватало сил, чтобы стать суверенными государствами, но противостоять росту миросистемы они все равно не могли. Довольно часто сильные в военном плане государства (располагались они главным образом в Западной Европе, хотя ни в коем случае нельзя забывать и о Соединенных Штатах, России и Японии) встречались с политически слабыми структурами и, чтобы обеспечить вхождение этих районов в миросистему, их завоевывали и объявляли колониальное правление.

Внутренние функции колоний полностью совпадали с функциями суверенного государства: они гарантировали права собственности; принимали решения о проходимости собственных границ; определяли варианты политического участия, хотя почти всегда его сильно ограничивали; вмешивались в производственные отношения и часто определяли, какие виды товаров для колонии предпочтительнее производить. Но, естественно, подавляющее большинство людей, которые принимали все эти решения, не были выходцами из местного населения, а были присланы страной-колонизатором. В арсенале колониальных властей имелся целый ряд доказательств, почему власть должна принадлежать им и почему все важные посты следует распределять между гражданами государства-метрополии. Первая группа доказательств

носила чисто расистский характер и касалась культурной неполноценности и недостаточности местного населения; вторая группа оправдывала действия колониальной администрации, поскольку объясняла все ее действия миссией нести цивилизацию.

Просто-напросто колониальное государство является самым слабым из всех имеющихся в межгосударственной системе видов государств, уровень его автономии чрезвычайно низок, а потому фирмам и отдельным личностям из другого государства, из так называемой метрополии, очень легко этим воспользоваться. Конечно, колонизирующая держава должна была не только обеспечить контроль над производственными процессами в колонии, но и добиться того, чтобы ни одна другая сильная держава миросистемы не имела доступа к ресурсам или рынкам ее колонии или чтобы этот доступ был минимален. Поэтому было совершенно неизбежно, что в какой-то момент произойдет политическая мобилизация народонаселения колоний. Мобилизация приняла форму движения за национальное освобождение, другими словами, за статус суверенного государства, и это был только первый шаг на пути к улучшению относительного положения страны и ее населения в мирэкономике.

Но, рассматривая только отношения сильных государств со слабыми, мы можем упустить очень важный момент — отношения между сильными государствами. Такие государства по определению являются соперниками, поскольку представляют интересы различных соперничающих фирм. Но, как и в случае конкуренции между крупными фирмами, конкуренция между сильными государствами подчинена одному противоречию. Несмотря на то, что в этой игре все против всех и, когда выигрывает один, другой обязательно проигрывает, есть у них один общий интерес: им выгодно

существование межгосударственной системы и всей современной миросистемы в целом. Так что сильные игроки разрываются между двумя крайностями: с одной стороны, им хотелось бы, чтобы в межгосударственной системе царила анархия, а с другой — порядок и гармония. В результате, как и следовало ожидать, наша межгосударственная система записает где-то посередине между этими двумя типами.

Рассматривая противоречия этой борьбы, важно не забыть об особой роли, которую играют государства полупериферии. Обладая средней силой, эти государства занимают промежуточную позицию и прилагают максимум усилий, чтобы по крайней мере не скатиться вниз к периферии, надеясь при этом взобраться по лестнице как можно выше. Всю мощь своего государства они сознательно направляют на то, чтобы поднять свой статус производителя, накопителя капитала и военной державы как внутри страны, так и за ее пределами. А выбор у них действительно невелик: либо им удастся подняться вверх по иерархической лестнице или хотя бы закрепиться на своем месте, либо их спихнут вниз.

Государства полупериферии должны очень аккуратно, но быстро определяться с союзниками и экономическими предпочтениями, потому что основная конкурентная борьба идет между самими государствами полупериферии. Если во время Кондратьевской фазы Б ведущая в прошлом отрасль решит перебазироваться, то переедет она скорее всего в страны полупериферии. Но не во все сразу, а, может быть, в одну или две. Производственная структура системы не может позволить, чтобы отрасль переехала и стала развиваться сразу во многих странах: нет у нее для этого достаточно места. Очень трудно предугадать, трудно даже объяснить постфактум, каким образом происходит выбор этой одной-единственной страны из, скажем, пятнадцати. Зато

легко понять, что повезет далеко не всем, а прибыли рухнуть вниз слишком быстро и радикально.

Конкуренция между сильными государствами, а также потуги государств полупериферии упрочить свой статус и власть приводят к постоянному соперничеству между государствами, причем ситуация обычно характеризуется политическим равновесием, то есть ни одно государство не может поступать только по своему усмотрению, без оглядки на других. Но это отнюдь не значит, что государства посильнее не добиваются именно такого уровня власти. Проявить свое господство можно двумя совершенно разными путями: можно превратить мироэкономику в мироимперию или добиться гегемонии в миросистеме, если можно так выразиться. Очень важно различать эти два пути, а также понимать, почему еще никому не удавалось сделать из современной мироэкономики мироимперию, а вот достичь гегемонии некоторым государствам доводилось.

Под мироимперией мы понимаем структуру, где вся политическая власть всей миросистемы сосредоточена в одних руках. За последние пятьсот лет было предпринято несколько серьезных попыток создать такую мироимперию. Первым попробовал Карл V Габсбург и его более слабые потомки в XVI веке. Вторую попытку осуществил Наполеон в начале XIX века. Третьим был Гитлер в середине XX века. Все они были грандиозны, все потерпели сокрушительное поражение и не смогли довести дело до конца.

А с другой стороны, есть три державы, которым удалось добиться гегемонии, хотя продолжалось это недолго. Первыми были Соединенные Провинции, сегодня известные как Нидерланды, в середине XVII века. Вторым — Соединенное Королевство в середине XIX века. И третьими — Соединенные Штаты в середине XX века. Что позволяет нам

называть эти государства гегемонами, так это то, что на какой-то период они могли определять правила игры для всей межгосударственной системы, господствовали в мироэкономике, лидировали в производстве, торговле и финансах, добивались удобных им политических решений с минимальным привлечением военной силы, хотя в военном плане все они были сильны, вырабатывали культурный лексикон, которым пользовался весь мир.

Но остается два вопроса. Первый: почему никому так и не удалось превратить мироэкономику в мироимперию, хотя достичь гегемонии удавалось? И второй: почему никому не удалось надолго сохранить гегемонию? В каком-то смысле, если принять во внимание все наши рассуждения, ответить на эти вопросы не так уж сложно. Как мы уже видели, особенности строения мироэкономики (единое разделение труда, многогосударственная структура, существующая внутри межгосударственной системы, и, конечно, множество культур, связанных одной геокультурой) чудесным образом согласуются с нуждами капиталистической системы. В условиях мироимперии капитализм бы задохнулся, потому что там политическая структура имеет возможность расставлять приоритеты по-своему, и бесконечное накопление капитала пришлось бы отодвинуть на задний план, что постоянно и происходило во всех мироимпериях, существовавших до появления современной миросистемы. А потому, как только какое-нибудь государство выказывало намерение трансформировать систему в мироимперию, оно тут же наталкивалось на враждебное отношение со стороны самых важных капиталистических фирм мироэкономики.

Но как же тогда государствам удавалась все же добиваться гегемонии? Практика показывает, что гегемония может быть очень полезна капиталистическим фирмам, особенно если

эти фирмы связаны с державой-гегемоном политическими узами. Гегемонии, как правило, появляются после долгого продолжительного разлада в миропорядке, после так называемых «тридцатилетних войн» — войн, в которых задействованы все основные экономические точки мироэкономики и в которых альянсы, группирующиеся вокруг предполагаемой державы-гегемона, всегда побеждают страны, поддерживающие вероятного создателя мироимперии. Гегемония обеспечивает порядок, необходимый для процветания капиталистических предприятий, особенно он нужен отраслям монополистам. Гегемонии популярны и среди простых людей, потому что обещают не только порядок, но и всеобщее благополучие в будущем.

Но почему же тогда гегемонии не живут долго? Как и в случае с квазимоноолиями, квазиабсолютная власть гегемонии, по сути, подрывает сама себя. Для того чтобы стать гегемоном, государству чрезвычайно важно сконцентрироваться на эффективности производства — в этом и заключается основная роль гегемона. Но, чтобы сохранить гегемонию, необходимо переключить внимание на политические и военные дела — дела противоречивые и дорогостоящие. Рано или поздно, обычно рано, другие государства наращивают экономическую эффективность своих производств, и гегемон теряет свое преимущество и в конце концов перестает быть гегемоном. Политическое могущество тоже исчезает. Теперь гегемону и в самом деле приходится прибегать к помощи военной силы, простыми угрозами уже не обойтись, а это не просто проявление слабости, а причина дальнейшего упадка. Использование «имперской» силы подрывает власть державы-гегемона и экономически, и политически. И сначала за пределами государства, а затем и в нем самом все понимают, что это проявление не силы,

а слабости. В период упадка гегемон уже далек от определения культурного языка всего мира, более того становится ясно, что его любимый язык устарел и мало кто в мире готов им пользоваться.

Как только власть гегемона начинает ослабевать, сразу же появляются те, кто готов занять его место. Но для такого замещения нужно время и своя «тридцатилетняя война». А потому можно констатировать, что гегемония — явление очень важное, повторяемое и довольно кратковременное. Капиталистической системе нужны государства, нужна межгосударственная система и время от времени нужны державы-гегемоны. Но никогда поддержание или тем более прославление какой-нибудь из этих структур не было для капиталистов главным. Их приоритетом всегда было и остается бесконечное стяжание капитала, а добиться этого проще всего в условиях постоянно меняющегося политического и культурного господства, которое дает капиталистическим фирмам пространство для маневра, обеспечивает им государственную поддержку, но оберегает от чрезмерного давления.

#### 4. СОЗДАНИЕ ГЕОКУЛЬТУРЫ

*Идеологии, социальные движения,  
социальная наука*

Как мы уже говорили, поворотным моментом в *культурной истории* современной миросистемы стала Великая французская революция, она вызвала к жизни два принципиально новых момента, которые, можно с уверенностью сказать, заложили основу всей будущей геокультуры современной ми-

росистемы: во-первых, политические перемены стали считать нормой, и, во-вторых, была пересмотрена концепция суверенитета, теперь он вверялся народу, состоящему из «граждан». Казалось бы, эта концепция должна была охватить всех, но на практике вышло по-другому: многие оказались исключены из круга.

Политическая история современной миросистемы в XIX и XX веках стала историей дебатов именно об этой границе, разделяющей включенных и исключенных, но интересно, что дебаты эти велись *в рамках геокультуры, провозглашающей, что в нормальном обществе по определению охвачены должны быть все*. Решить эту политическую дилемму пытались идеологии, антисистемные движения и социальные науки. На первый взгляд кажется, что ничто не связывает эти три направления. Они и сами претендовали на обособленность. Но на самом деле все они были накрепко связаны между собой. Давайте рассмотрим по очереди каждое направление.

Идеология — это не просто набор идей или теорий. Она больше, чем моральный выбор или мировоззрение. Идеология — это гармоничная стратегия поведения на социальной арене, на основе которой можно сделать определенные заключения политического плана. В этом смысле предыдущим миросистемам идеологии были не нужны, да и наша миросистема обходилась без них до той поры, пока политические перемены не признали нормальным явлением, а ответственными за эти перемены не стали граждане и эти две идеи не стали основными структурными принципами политических учреждений. Если есть идеологии, значит, должны быть и соперничающие группы с соперничающими долгосрочными стратегиями, которые знают, что делать с переменами и кто должен их возглавить. Идеологии появились сразу вслед за Великой французской революцией.

Первой родилась идеология консерватизма — идеология тех, кто считал Французскую революцию с ее принципами социальной катастрофой. Основополагающие тексты были написаны сразу же, в 1790 году, в Англии Эдмундом Берком и чуть позже во Франции — Жозефом де Местром. До того по своим взглядам оба автора были сторонниками умеренных реформ. И оба теперь формулировали архиконсервативную идеологию в ответ на события, в которых они увидели опасную попытку радикального вмешательства в основы социального порядка.

Их особенно огорчало утверждение, что социальный порядок бесконечно податлив, что его без конца можно улучшать и что политическое вмешательство человека может и должно ускорять перемены. Консерваторам такое вмешательство казалось наглостью, причем наглостью очень опасной. Свои взгляды они строили на крайне пессимистичном отношении к моральным качествам человека, а базисный оптимизм французских революционеров казался им неправильным и недопустимым. Они были убеждены, что любые недостатки существующего социального порядка в конечном итоге принесут гораздо меньше бедствий, чем все то, что будет создано наглцами. После большого террора 1793 года, когда одни французские революционеры отправили на гильотину других французских революционеров за то, что те были недостаточно революционны, идеологи консерватизма склонялись к тому, что революция как процесс почти неминуемо приводит к такому большому террору.

Консерваторы, таким образом, были контрреволюционерами. К тому же они были реакционерами в том смысле, что их реакцией на резкие перемены, принесенные революцией, было желание восстановить старый режим (*ancien régime*). Консерваторы были вовсе не против эволюции

обычаев и правил, просто они ратовали за предельную осторожность и настаивали на том, что принимать решения о необходимости перемен могут только ответственные люди, заседающие в традиционных общественных учреждениях. С особым недоверием относились они к идее о том, что все могут быть гражданами с равными правами и обязанностями: по их мнению, большинство людей не обладали и никогда бы не смогли обладать способностями, необходимыми для принятия важных социальных и политических решений. Они веровали в иерархию политических и религиозных структур, конечно же, крупных, но даже в большей степени мелких или, можно сказать, *местных*; они верили в знать, общину, во все то, что принято называть начальством. А еще они верили в семью, в старую патриархальную иерархическую структуру. Вообще консерватизм прежде всего отличает вера в иерархию, которую они считали обязательной и желательной.

Итак, политическая стратегия ясна: восстановить и поддерживать власть традиционных учреждений и подчиниться их мудрости. Если в результате политических перемен придется ждать долго, то, значит, так тому и быть. Если эти учреждения решат, что эволюционировать лучше медленно, то и с этим надо согласиться. Только уважение к иерархии, по мнению консерваторов, может обеспечить порядок. Консерваторы на дух не переносили демократию, потому что для них она знаменовала конец уважения к иерархии. Они сомневались в необходимости всеобщего образования, предпочитая оставить его только для воспитания элитных кадров. Консерваторы были абсолютно уверены в том, что способности верхних и нижних слоев общества разделяет пропасть, и она не просто непреодолима — она заложена в человеческой натуре, а значит, дарована небесами.

Собственно Великая французская революция продолжалась не очень долго. На смену ей пришел режим Наполеона Бонапарта, а он перенес весь ее универсалистский апломб и миссионерское рвение на дело имперской экспансии Франции, оправданием которой служило революционное наследие. В политическом плане рассвет консерватизма начался повсеместно после 1794 года, а после падения Наполеона в 1815 году консерватизм накрепко угнездился в Европе, где господствовал теперь Священный союз. Тем же, для кого возвращение старого режима было нежелательным и невозможным, пришлось перегруппироваться и выработать контридеологию. Эта контридеология стала называться либерализмом.

Либералам очень хотелось избавиться от ненужных ассоциаций с большим террором, и все же они считали, что после революции все определяло ощущение спасенности. Для либералов перемены были не просто нормальным явлением: они не видели жизни без них, потому что мир, по их мнению, находится в постоянном движении к нормальному обществу. Либералы признавали, что поспешные перемены могут привести к обратным результатам, как, собственно, часто и бывало, но вместе с тем были уверены в несостоятельности и, по существу, незаконности *традиционных* иерархий. Из всех лозунгов Великой французской революции либералам импонировал один: «талантам путь открыт» (*la carrière ouverte aux talents*); сейчас ту же идею выражают понятия «равные возможности» и «меритократия». Вот на чем строили свою идеологию либералы. Они проводили четкое различие между иерархиями разных видов и ничего не имели против тех иерархий, которые они считали *естественными*, но были категорически против иерархий *наследственных*. По их мнению, естественные иерархии были не только естественны,

но и приемлемы для основной массы людей, а потому составляли законную оправданную основу власти, тогда как иерархии наследственные исключали возможность социальной мобильности.

В отличие от консерваторов, которые были Партией Порядка, либералы представлялись Партией Движения. Обстановка вокруг быстро менялась, требуя постоянного *реформирования* существующих институтов. Однако было очень важно, чтобы последующие социальные перемены шли естественным размеренным шагом, не слишком медленно, но и не слишком быстро. Либералам не давал покоя вопрос: кто же должен возглавить все эти крайне необходимые реформы? Ни в какие традиционные иерархии они не верили, будь то иерархии общенациональные или местные, духовные или светские. Мало доверия вызывали у них и народные массы: они видели крайнюю необразованность толпы, а потому считали ее совершенно неразумной.

Вот либералы и пришли к выводу, что существует только одна группа, способная не только провести реформы, но и со всей ответственностью определить, какие именно реформы нужны,— это специалисты. Сама формулировка подразумевает, что эти люди должны были разбираться в том, чему их учили, и лучше других понимать, какие реформы необходимы и желательны. Образование подталкивало специалистов подходить ко всему разумно и пронищательно. Они понимали и возможности перемен, и их подводные камни. А поскольку каждый *образованный* человек был специалистом в какой-то области, следовательно, права гражданина позволено было иметь тем, кто получил образование, иными словами, тем, кто был специалистом. Все остальные по большому счету тоже могли стать гражданами, если бы получили соответствующее образование, ко-

торое бы позволило им влиться в общество разумных образованных людей.

Но какое образование? Либералы аргументировано доказывали, что образование должно переключиться со старых «традиционных» форм знания, которые мы сегодня называем гуманитарными науками, на единственно возможную теоретическую основу практического знания, то есть на чистую науку. Науку, которая заменила не только теологию, но к тому же еще и философию, открыла путь материальному и технологическому прогрессу, а вместе с тем и прогрессу нравственному. Существовало великое множество разных видов специалистов, но именно ученые-естественники занимали самую вершину горы умственного труда, работая на высшее благо (*summum bonum*). И только те политики, которые полагались в своих программах на строго научное знание, считались надежными проводниками к будущему благополучию. Не составит труда понять, что либерализм как идеология был весьма скромнен по части преобразований в обществе. Более того, либералы всегда подчеркивали свою умеренность и центристское положение на политической арене. В 1950-е годы ведущий американский либерал Артур Шлезингер Младший написал книгу о либерализме и назвал ее «Жизненно важный центр».

В первой половине XIX века на идеологическом поле практически ничего не происходило, кроме конфликта консерваторов и либералов. Тогда еще не существовало ни одного серьезного движения, способного поддержать более радикальную идеологию. Люди, склонные к радикализму, как правило, примыкали к либеральным движениям, создавая небольшие подразделения-придатки, или собирали несогласных в маленькие группки. Называли они себя демократами или радикалами, иногда — социалистами. Есте-

ственно, что к идеологии консерваторов никакой симпатии они не питали. Но и в либералах их устраивало далеко не все, поскольку, хотя либералы и считали перемены явлением нормальным и поддерживали, по крайней мере, в теории концепцию гражданства, они были чрезвычайно робки и на самом-то деле боялись кардинальных перемен.

Идеологическую панораму изменила только «мировая» революция 1848 года: к двум идеологическим противникам, консерваторам и либералам, добавился третий — радикалы; теперь консерваторы были справа, либералы занимали центр, а справа расположились радикалы. Что же случилось в 1848 году? По большому счету две вещи. С одной стороны, произошла первая настоящая «социальная» революция современности. На очень короткое время создано впечатление, что движению городских рабочих удалось взять власть во Франции, и это движение было подхвачено в других странах. Им не удалось удержать власть надолго, зато они очень напугали тех, у кого была власть и привилегии. В то же время произошла и другая революция, или даже целая череда революций, которую историки называли «весной народов». Во многих странах прошли народные бунты и национально-патриотические восстания, которые также потерпели поражение, но сильно напугали власть предержащих. Именно это сочетание положило начало модели, которая на протяжении всего следующего века, или даже дольше, определяла многое в миросистеме, теперь основными политическими игроками стали антисистемные движения.

Неожиданно вспыхнувшее пламя мировой революции 1848 года удалось погасить, за этим последовали долгие годы жестокой реакции. Но революция показала основные проблемы стратегий, то есть идеологий. Консерваторы сделали вполне определенные выводы из этих событий. Они воочию

увидели, что слепая реакция князя Меттерниха, который на протяжении сорока лет был госминистром, а в сущности министром иностранных дел, Австро-Венгрии и душой Священного союза, задуманного с целью задушить все революционные движения в Европе, имела обратные результаты. В конечном итоге их тактика не сработала: они не смогли ни сберечь традиции, ни обеспечить порядок. Вместо этого они спровоцировали злобу, возмущение, антиправительственную деятельность и только подорвали порядок. Консерваторы заметили, что единственной страной, избежавшей революции 1848 года, была Англия, и это, несмотря на то, что там было свое радикальное движение — самое сильное во всей Европе в предшествующие десять лет. Секрет, казалось, скрывался в особом виде консерватизма, который с 1820-х по 1850-е годы проповедовал и внедрял в жизнь Сэр Роберт Пиль, время от времени он шел на некоторые уступки, которые тем не менее снижали тягу к радикальным выступлениям. На протяжении следующих двадцати лет «просвещенный консерватизм», как стали называть Пилеву тактику, укоренился по всей Европе и расцвел буйным цветом не только в Англии, но и во Франции и Германии.

Между тем радикалы тоже вынесли для себя урок стратегии из своих поражений в революциях 1848 года. Роль приписка либерализма их больше не устраивала. Но спонтанность — главное средство радикалов до 1848 года — доказала свою ограниченность. Спонтанное насилие похоже и на бумагу, которую бросили в огонь: пламя разгорается, но так же быстро и гаснет. Спонтанное насилие — не очень надежное топливо. Были у радикалов до 1848 года и другие крайности, некоторые ратовали за создание утопических коммун, которые бы ничто не связывало с жизнью общества. Но у последнего прожекта, как выяснилось, поклонников было мало,

еще меньше оказалось его влияние в целом на историческую систему, в отличие от спонтанного восстания. Радикалы искали более действенную альтернативную стратегию и нашли ее в организации — систематической долговременной организации, которая была в состоянии подготовить политическую почву для основательных социальных перемен.

И наконец, революции 1848 года научили кое-чему и либералов. Они пришли к осознанию того, что недостаточно полагаться только на добродетели специалистов в ожидании разумных и своевременных социальных преобразований. На политической арене действовать нужно было быстро, чтобы специалисты вообще получили возможность взяться за эти преобразования. А значит, либералам пришлось иметь дело и со своими старинными противниками — консерваторами и с только что появившимися радикалами. И если либералы решили преподнести себя миру как политический центр, то им нужно было поработать над программой «центристской» по характеру требований и тактикой, которая бы поместила их где-то посередине между консервативным противлением любым переменам и радикальной настойчивостью на быстрых радикальных реформах.

В период между 1848 годом и Первой мировой войной сложилась четкая либеральная программа для стран ядра современной миросистемы. Эти страны старались перевоплотиться в «либеральные государства», то есть государства, которые были бы основаны на концепции гражданства, обеспечивали бы гарантии против произвола власти, где существовала бы определенная открытость в общественной жизни. В разработанной либералами программе было три основных части: предполагалось постепенно расширять избирательное право и, что очень важно, параллельно расширять доступ к образованию; государство становилось защитни-

ком граждан от несправедливости на рабочих местах, обеспечивало им медицинское обслуживание и сглаживало колебания доходов на протяжении жизни человека; и наконец, либеральное государство ковало из своих граждан «нацию». Если повнимательнее приглядеться к этой «троице», становится понятно, что лозунг «свобода, равенство и братство» каким-то образом превратился в государственную политику.

Говоря о либеральной программе, нужно отметить два интересных момента. Во-первых, по большей части ее удалось претворить в жизнь к началу Первой мировой войны, по крайней мере на панъевропейском пространстве. Во-вторых, на поверку оказалось, что далеко не всегда либеральную программу воплощали именно либеральные партии. Это может показаться странным, но нелибералы сделали очень много для этой программы. Все это стало возможным только благодаря пересмотру стратегий, что произошло после революций 1848 года во всех трех идеологических лагерях. Либералы сделали шаг назад, стали осторожничать при внедрении своей собственной программы. Очень уж они боялись повторения беспорядков 1848 года. Консерваторам же, с другой стороны, программа либералов показалась умеренной и по существу разумной. Они-то и начали претворять ее в жизнь: Дизраэли расширил избирательное право, Наполеон III разрешил профсоюзы, Бисмарк придумал государство всеобщего благосостояния. И радикалы соглашались с этими ограниченными реформами, даже защищали их, выстраивая между тем организацию, которая в будущем должна была обеспечить им приход к власти.

Сочетание подвижек в тактиках всех трех идеологических направлений означало только то, что либеральная программа стала общей определяющей чертой геокультуры, консерваторы и радикалы превратились в разновидности,

аватары, либералов, поскольку разница между программами была теперь минимальна, а серьезных противоречий и во-все не существовало. Все три идеологические позиции особенно сходились в том, что касалось третьего столпа — братства. Как создать нацию? Только всячески подчеркивая, что гражданство исключает из круга всех остальных. Нацию можно создать, проповедуя национализм. В XIX веке было три структуры, которые учили граждан национализму, — начальная школа, армия и национальные празднества.

Начальная школа была путеводной звездой либералов, ей рукоплескали радикалы, и даже консерваторы ничего не имели против нее. Начальная школа делала из рабочих и крестьян граждан, обладающих минимальным набором навыков, необходимых для того, чтобы исполнять национальный долг: гражданин должен был уметь читать, писать и считать. Школа прививала гражданские добродетели, перекрывая партикуляризм и предрассудки семейных структур. И самое главное — школа учила единому национальному языку. В начале XIX века в Европе было очень мало стран, где бы все говорили на одном языке, а в конце — уже почти во всех странах был единый национальный язык.

Национализм питался враждебностью к врагам. Большинство стран ядра постарались привить своим народам неприязнь к кому-нибудь из соседей на той или иной почве. Но была и другая в конечном итоге более важная форма враждебности — враждебность панъевропейского мира ко всему остальному, закрепившаяся как расизм. Такая враждебность распространялась вместе с концепцией «цивилизации», одной цивилизации в противовес множеству других. Панъевропейский мир, доминируя и в экономической, и в политической жизни миросистемы, считал себя сердцем, венцом цивилизации, процесс развития которой европейцы про-

слеживали со времен античности. Учитывая прекрасное состояние своей цивилизации и уровень развития технологий в XIX веке, панъевропейский мир считал своим долгом поделиться своими достижениями и культурного, и политического характера с остальными: вспомните «Бремя белых» Киплинга, «особое предназначение» Соединенных Штатов, французскую «цивилизующую миссию».

XIX век стал веком возрождения прямого империализма, только с вот этим нюансом. Имперский захват был теперь не просто поступком государства, или даже государства, побуждаемого церковью, — он превратился в порыв нации, стал долгом граждан. Именно за последний пункт либеральной программы с особенным пылом и ухватились консерваторы, увидев в нем верный способ сгладить классовые противоречия и таким образом обеспечить порядок внутри страны. Когда в 1914 году практически все социалистические партии в Европе предпочли принять сторону своего государства в войне, всем стало ясно, что правы были консерваторы, веря в силу воздействия национальной идеи на некогда опасные классы.

Идеология либерализма определила геокультуру современной миросистемы на весь XIX и большую часть XX века, этот триумф стал институционально возможен благодаря разработке правовой базы либерального государства. Но немалую роль сыграл также подъем постепенно набирающих силу антисистемных движений. Это может показаться парадоксальным, ведь по общему впечатлению антисистемные движения существуют для того, чтобы подрывать систему, а вовсе не для того, чтобы ее поддерживать. И все же деятельность этих движений в целом идет на пользу системе, значительно ее укрепляя. Только действительно разобравшись в этом кажущемся парадоксе, можно понять, как капитали-

стической мироэкономике удастся оставаться единым целым, тогда как, с одной стороны, она постоянно растет и богатеет, а с другой — в ней увеличивается поляризация благ.

К антисистемным движениям можно отнести организации, которые хотели, чтобы в общественном устройстве произошли серьезные изменения. Внутри государств деятельность антисистемных движений сводилась главным образом к попыткам определенных группировок получить статус граждан для своих членов. Антисистемные движения, так же как и либералы, воплощали в жизнь принципы свободы, равенства и братства, только делали это по-своему. Первым серьезное антисистемное движение создал городской рабочий класс, который стали называть пролетариатом. Эта группа базировалась в нескольких городах, что позволяло ее отделениям легко общаться между собой. Когда пролетариат только начинал формировать свою организацию, было очевидно, что условия труда и уровень компенсации оставляли желать лучшего, хотя именно рабочие играли главную роль в производственных процессах, которые создавали прибавочную стоимость.

К середине XIX века стали появляться местные рабочие организации (профсоюзы) и публичные организации (рабочие и социалистические партии). Сперва они появились в крупных промышленных центрах Западной Европы и Северной Америки, а затем по всему остальному миру. Почти весь XIX век и еще очень долго в XX веке государственные власти, да, впрочем, и бизнес, были настроены крайне враждебно по отношению к подобным организациям. Вот и получилось, что классовая борьба больше напоминала крайне кособокое поле раздоров, на котором «социальное движение» вело тяжелую, напряженную борьбу, шаг за шагом добиваясь небольших уступок.

В этой неявной политической борьбе есть еще один момент, который возвращает нас к разговору о домохозяйствах и статусных идентичностях. Социальное движение рассматривало свою деятельность как борьбу рабочих с капиталистами. Но кто такие эти «рабочие»? В реальной жизни рабочими были взрослые мужчины основной национальности данной страны. Как правило, они были рабочими квалифицированными или полуквалифицированными, имели какое-то образование и в XIX веке составляли основную массу промышленной рабочей силы по всему миру. Многие не попадали под это определение: с одной стороны, это были женщины, а с другой — группы иной расовой, религиозной, лингвистической, этнической принадлежности. И, поскольку им не было места в социалистических или рабочих организациях, пришлось им создавать свои собственные объединения. Их движения были в той же степени антисистемны, что и движения рабочих и социалистов, но свое недовольство они выражали по-другому.

Но, создавая свои организации, они вступали в соперничество, а порой и в прямую конфронтацию с рабочими движениями, в основе которых лежала классовая принадлежность. На протяжении длительного времени, где-то с 1830 по 1970 год, отношения между этими двумя видами антисистемных движений были крайне напряженными, даже враждебными, периоды проявления взаимопонимания и сотрудничества случались крайне редко. Более того, все эти организации, возникшие на основе статусных идентичностей, не могли найти общий язык и между собой, точно так же как не получалось у них сотрудничать с рабочими или социалистами.

Тем не менее у всех организаций, созданных на основе единого статуса или идентичности, были задачи, рассчитан-

ные на далекую перспективу, хотя многие о них и помысливали; среднесрочные же цели вращались вокруг прав гражданина для тех, на кого эти права пока не распространялись. Все их порывы стать полноправными гражданами либерального государства наталкивались на нежелание, а гораздо чаще на открытую враждебность. Выработывая стратегию, им нужно было найти ответы на два сложных вопроса. Во-первых, какая стратегия будет наиболее эффективна в среднесрочной перспективе? И, во-вторых, кого из множества антисистемных движений выбрать в союзники? Ни первый, ни второй вопрос не удалось решить быстро и легко.

В политическом устройстве исключенных групп были очевидные и безотлагательные проблемы. Закон часто отказывал их организациям во многих правах. Потенциальные члены таких организаций по большей части были слабы и не имели никакой власти. К тому же все вместе, да и каждый в отдельности, они не имели достаточного доступа к деньгам. Основные учреждения в разных странах воспринимали их старания негативно. Из всего этого следует, что подавить такие движения было довольно просто. В общем, создавались подобные организации медленно и долго, большую часть времени тратя на то, чтобы как-то удержаться на плаву.

Основные споры угнетенные группы вели вокруг вопроса о том, что для них важнее: измениться самим или изменить угнетающие их учреждения. Другими словами, дебаты шли о том, какую стратегию выбрать — культурную или политическую. К примеру, группа националистов должна была решить, что для нее важнее: возродить умирающий язык предков или добиться избрания кого-то из своих в законодательное собрание. Рабочие движения определялись, признавать или не признавать законность государства вообще (анархия) или лучше переделать существующие государства.

Споры по поводу стратегии были чрезвычайно бурными и жесткими, они вызывали распри внутри движений, и все участники принимали их крайне близко к сердцу.

Естественно, что эти варианты отнюдь не исключали один другого, но многие понимали, что каждый из них может вывести на очень разные стратегические направления. В случае культурного варианта, если можно так выразиться, политические реформы в конечном итоге получались поверхностными и избирательными и искажали первоначальные радикальные, то есть антисистемные, цели. Существовал еще аргумент социально-психологического характера: простые люди были в плену у системы, поскольку именно система формировала их психологическое состояние, не изменив которого, нечего было и думать о социальных переменах. Те, кто придерживался политического пути, считали, что поборники культурного варианта были наивными жертвами собственных заблуждений, полагая, что будущие власти разрешат им провести серьезные культурные реформы, о которых они мечтали. Сторонники политического направления всегда обращали внимание на подлинную сущность власти и настаивали на том, что любые настоящие изменения властных отношений нужно производить, не касаясь психологического состояния угнетенных.

История показывает, что в результате тридцати, а то и пятидесяти лет дружелюбных и недружелюбных дебатов победа во всех баталиях внутри всех антисистемных движений досталась сторонникам политического варианта. Власти постоянно подавляли деятельность движений и того, и другого толка, и это лишний раз доказывало нежизнеспособность любых культурных форм антисистемных движений. Все больше людей склонялись к «воинственной» борьбе, все больше воинственно настроенных борцов были уже хорошо органи-

зованы, а таким сочетанием могли с пользой для дела воспользоваться только группировки, избравшие политическое направление. К началу XX века было уже не просто понятно, что в дебатах о стратегии победил политический вариант. Все без исключения антисистемные движения, поодиночке двигаясь параллельными курсами, в результате пришли к единому плану действий, состоявшему из двух основных шагов: сначала они решили взять власть в государстве в свои руки, а уж потом изменять мир / государство / общество.

Конечно, в этой двухступенчатой стратегии было много неясного. Главный вопрос заключался в том, что имелось в виду под формулировкой «взять власть в государстве в свои руки» и, вообще, как это сделать. (Вопрос о том, как изменять мир / государство / общество, обсуждался гораздо реже, может быть, потому, что это был вопрос далекого будущего, а вовсе не настоящего.) Например, можно ли прийти к власти в государстве, расширяя избирательное право, участвуя в выборах, а потом и в работе правительства? Нужно ли делиться властью или лучше ее отбирать у других? Нужно ли менять госструктуры или достаточно установить контроль над уже существующими? Никто никогда так и не смог дать исчерпывающих ответов на все эти вопросы, в большинстве организаций уживались сторонники самых разных, подчас противоречивых, вариантов.

Даже когда двухступенчатая политическая стратегия стала главным направлением деятельности организаций, внутренние споры не прекращались. Потому как на повестке стоял вопрос: как же захватить государственную власть? Классикой стали дебаты, которые велись в период между Вторым и Третьим Интернационалом, — дебаты, которые еще раньше начали социал-демократические партии. Часто их преподносят как споры между сторонниками реформизма и рево-

люционной борьбы, что может порой ввести в заблуждение. Когда Эдуард Бернштейн призывал немецких социал-демократов к «ревизионизму», каковы были его аргументы? В общем-то, суть его доводов сводилась к стройному ряду последовательных допущений. Большинство населения тогда составляли «рабочие», к которым Бернштейн относил рабочих промышленных предприятий и их семьи. Всеобщее (мужское) избирательное право сделает этих рабочих полноправными гражданами. Рабочие будут голосовать за тех, кто будет отстаивать их интересы, то есть за социал-демократическую партию. Следовательно, как только все рабочие получат право голосовать, они проголосуют за приход к власти социал-демократов. А когда уж социал-демократы станут у руля, им останется лишь принять необходимые законы, и государство станет социалистическим. Каждый шаг кажется очень логичным. И каждый — оказался неверным.

Революционеры придерживались иной позиции — в классической форме, сформулированной Лениным. Заключалась она в том, что во многих странах пролетарии вовсе не составляли большинства населения. Во многих странах не существовало свободных выборов, а даже если и существовали, то буржуазия все равно никогда бы не признала их результатов, если бы они привели к власти пролетариат. Буржуазия просто не позволила бы этому случиться. Поэтому революционеры выработали свою последовательность необходимых, по их мнению, шагов. Единственным прогрессивным героем своего времени они считали городского рабочего. Но даже городские рабочие — что уж говорить об остальном населении, в том числе о сельских рабочих — не всегда осознавали свои интересы. Активисты рабочих партий понимали эти интересы гораздо яснее, чем рядовые пролетарии, и могли растолковать рабочим, в чем заключаются их интересы. Та-

кие активисты могли действовать подпольно, и, заручившись поддержкой городских рабочих, поднять восстание и захватить власть. Каждый шаг этой последовательности кажется логичным. И каждый — оказался неверным.

Антисистемные движения никак не могли найти общий язык, и это было одной из их самых больших проблем, начиная с конца XIX века и на протяжении почти всего двадцатого. У каждого антисистемного движения была своя большая обида, которая для адептов была безоговорочно первостепенной; к жалобам других движений они относились не столь серьезно, считая, что они только отвлекают внимание от главной цели. Каждое движение настаивало на том, что в первую очередь нужно решить именно их проблемы. А расправившись с ними, возникнет благоприятная ситуация и для постепенного решения проблем остальных движений.

Эта проблема прежде всего видна на примере сложных взаимоотношений рабочих/социалистических организаций с женскими движениями. У профсоюзов сложилось вполне определенное мнение о женских движениях: они считали, что, нанимая на работу женщин, работодатели получали дешевую рабочую силу, которая представляла собой угрозу интересам рабочего класса. Большинство городских рабочих в XIX веке, да и на протяжении доброй половины двадцатого, предпочитали социальную модель, которая предписывала замужним женщинам быть домохозяйками и держаться подальше от рынка труда. Как только женщины заявляли о своей готовности выйти на рынок, профсоюзы начинали добиваться так называемой «семейной зарплаты», которой хватило бы, чтобы прокормить самого рабочего, его жену и несовершеннолетних детей.

У социалистических партий женские организации вызвали еще больше сомнений, если не сказать больше. Они

признавали только женские группы, входившие в состав социалистических партий, которые в образовательных целях объединяли жен и дочерей членов партии. Чисто женские организации социалисты считали буржуазными по самой сути, потому что во главе таких организаций обычно стояли женщины из буржуазии, соответственно, и их цели казались по меньшей мере второразрядными для рабочего люда. Что касается вопроса предоставления женщинам избирательного права, то в теории социалистические партии только поддерживали эту идею, хотя на практике относились к ней крайне скептически. Они были уверены, что рабочие-женщины в отличие от рабочих-мужчин вряд ли будут на выборах поддерживать социалистов, и все из-за сильного влияния религиозных организаций, которые к социалистическим партиям относились враждебно.

Женские организации платили социалистам той же монетой. Они видели, что рабочие и социалистические движения хотят сохранить патриархальные подходы и принципы, против которых они как раз боролись. Женщины из среднего класса объединялись в суфражистские кружки и доказывали, что они образованнее мужчин из рабочего класса и, следуя логике либерализма, должны получить гражданские права первыми. Но история показала, что в большинстве стран все произошло по-другому. Законные права, позволяющие наследовать имущество, распоряжаться деньгами, подписывать договоры и вообще быть независимой личностью в глазах закона, — все это имело смысл в основном для тех семей, у которых была собственность. А женские кампании против таких социальных проблем, как пьянство или жестокое обращение с женщинами и детьми, или за контроль над собственным телом, были направлены в гораздо большей степени против мужчин из рабочего класса, нежели из среднего.

В отношениях рабочих/социалистических движений с движениями этническими/националистическими были те же проблемы. В любом этническом движении внутри страны рабочие движения усматривали механизм для дробления рабочего класса. Требования угнетенных этнических и расовых меньшинств пустить их на рынок труда наталкивались на тот же ответ, что и требования женщин. Они служили интересам работодателей, потому что готовы были работать за малые деньги. Многие профсоюзы стремились выгнать такие меньшинства с рынка труда, конечно, не совсем, но в более или менее высоко оплачиваемый сектор, который традиционно был закреплен за рабочими основной национальности, они старались их не пускать. Желание отделаться от этнических меньшинств только провоцировало отрицательное отношение к иммиграции из тех районов земного шара, жители которых могли усилить положение и подстегнуть рост таких меньшинств. Этим же объясняется и сопротивление или, в лучшем случае можно сказать, нежелание принимать меры против различных форм эксплуатации, потому что тогда освобожденные рабочие смогут конкурировать на рынке труда.

Антагонизм становился еще сильнее, когда дело касалось отношений рабочих/социалистических движений с каким-нибудь полностью оформившимися национально-освободительным движением, жаждущим отделения своего народа от государства, где зародилось рабочее движение. Так было и в случае, если национальное движение претендовало на часть государства, и в случае, если оно хотело освободить свою собственную страну, ставшую заморской колонией. В общем-то, рабочие обвиняли националистов в том же, в чем и женщин, — в буржуазности, считая, что подобные организации преследуют интересы буржуазии, если

это, конечно, были не те, против кого национальное движение боролось. Рабочие / социалистические движения были убеждены в том, что национальная «независимость» не принесет никакой пользы рабочему классу самоопределившейся страны. Такая независимость может даже резко ухудшить положение рабочих, если у старых «имперских» властей были законы и структуры, менее враждебные по отношению к рабочим, чем те, что введут новые «независимые» власти. В любом случае все социалистические партии склонялись к тому, что все буржуазные государства похожи друг на друга, а потому самый важный вопрос заключался в том, сможет ли рабочий класс прийти к власти в одном из этих государств. Так что национализм был очередным заблуждением и отклонением от намеченного курса.

Национальные движения ответили тем же. Они утверждали, что притеснения по национальному признаку были реальными, непосредственными и всеохватывающими. Они доказывали, что любая попытка пойти по пути, предложенному рабочими, приведет к тому, что «народ» расколется и ему будет намного сложнее защищать свои национальные права. Они не сомневались, что, если у рабочих возникнут какие-то особые проблемы, они смогут с ними гораздо лучше справиться в рамках независимого государства. И действительно, требования культурного характера, которые выдвигали националисты (например, разрешить пользоваться родным языком) четко совпадали с чаяниями рабочих той страны, где пытались обосноваться это национальное движение, поскольку рабочие с гораздо большим удовольствием говорили бы на своем родном языке, чем на официальном языке политических структур, против которых выступали националисты.

И наконец, женские организации относились к этническим / национально-освободительным движениям не лучше,

чем к рабочим. Доводы они приводили все те же. С одной стороны, женщины не получили бы никакой выгоды в случае, если национальные меньшинства получили бы гражданские права или добились национальной независимости. К тому же они очень часто жаловались на то, что образованным женщинам из среднего класса не разрешают голосовать, в то время как практически безграмотным мужчинам-иммигрантам это право предоставляется. Более того, женщины были уверены в том, что новое независимое государство вряд ли предоставит им больше прав, чем старое. И снова антагонизм был взаимным. Этнические и национально-освободительные движения считали, что женские организации отстаивают интересы класса эксплуататоров, то есть интересы доминирующего этноса, если движение развивалось внутри страны, или имперской власти, если речь шла о колонии. Они собирались заняться вопросом прав женщин уже после того, как с их собственными проблемами будет покончено.

Конечно же, были люди и даже целые группировки, которые стремились преодолеть все эти противоречия и доказать, что разные движения могут успешно действовать вместе. Эти люди пытались объединить усилия, и иногда кое-что им удавалось сделать. Но все же история развития антисистемных движений с 1848 по 1945 год свидетельствует о том, что в мировом масштабе сторонники объединения не оставили заметного следа. Три основных направления — 1) рабочее / социалистическое; 2) этническое / национально-освободительное и 3) женское — так, в общем-то, и остались порознь, каждое отстаивало свои собственные интересы, игнорируя интересы остальных. С другой стороны, несмотря на недостаток согласованности, не говоря уже о сотрудничестве, поражает, до чего похожи были стратегии различных

движений. По большому счету к концу XX века все движения достигли своей первостепенной цели — их члены официально стали полноправными гражданами, но никто не смог пойти дальше: используя контроль в государстве, переделать общество. К этой теме мы еще вернемся.

Были досконально проработанные идеологии, были антисистемные движения, которые направляли энергию недовольства, но только теоретический аппарат мог обеспечить эффективность геокультуры. А это уже задача для социальной науки. В первой главе мы рассказывали о том, как появились две культуры. Давайте посмотрим теперь на эту историю с точки зрения возникновения такого явления, как геокультура.

Термин «социальная наука» придумали в XIX веке. Думаю, нужно объяснить оба слова — и «наука», и «социальная». Почему наука? В XIX веке «наука» была эвфемизмом «прогресса», а прогресс был великой всеми признанной целью миросистемы. Сегодня мы не находим в этом ничего особенного. Но, как мы уже видели, в то время в мире знания произошла серьезная смена ценностей: христианская идея искупления уступила место просвещенческой идее прогресса. Последовавший за этим так называемый развод философии и науки и появление «двух культур» привели к эпистемологическим дебатам о том, как получилось так, что мы знаем то, что мы знаем.

В XIX веке в структурах знания, особенно в преобразованной университетской среде, да и вообще во всем просвещенном мире, ученые, применявшие строго научные подходы, стали на голову выше философов и гуманитариев. Эти ученые утверждали, что только они могут познать истину. Их совершенно не интересовали понятия «доброе» и «прекрасного», поскольку их нельзя было доказать эмпириче-

ски. Поиски доброго и прекрасного они целиком оставили гуманитариям, которые в большинстве своем были этому только рады, опираясь на строки Китса: «Краса—где правда, правда—где краса! Вот знание все и все, что надо знать». В какой-то степени гуманитарии, конечно, уступили поиски истины ученым. Как бы там ни было, впервые в истории человечества в мире знания произошел коренной раскол между истинным, добрым и прекрасным. И это целиком и полностью достижение концепции двух культур.

Итак, ученые занялись изучением материальных явлений, гуманитарии — творческой работой, но оказалось, что есть еще одна важная сфера и непонятно, куда ее отнести после раскола. Речь идет о сфере социальных явлений. После Великой французской революции власти поняли, что изучать поведение общества надо. Если политические перемены были нормой, а народ обладал суверенной властью, очень важно было понимать, по каким законам строилось общество и как оно работало. Поиски такого знания и стали называть социальной наукой. Социальная наука появилась в XIX веке и сразу же стала ареной для политической конфронтации и борьбы гуманитарных наук с естественными, каждый лагерь старался навязать социальной науке свой метод познания. Для государственной власти и капиталистических предприятий контроль над социальной наукой означал бы в каком-то смысле контроль над будущим. Представители структур знания, то есть гуманитарии и ученые, желали перетянуть социальную науку на свою сторону с целью получить союзника в не очень-то братской борьбе за власть и интеллектуальное превосходство в университетах.

Как мы уже видели, во второй половине XIX века и в первой половине XX появились и широко распространились шесть названий, которые обозначили дисциплины, связан-

ные с изучением социальной действительности: это история, экономика, политология, социология, антропология и востоковедение. Логика, которая лежит в основе этих шести названий, а соответственно, и разделение труда при изучении различных областей социальной действительности отражают социальную обстановку, сложившуюся в мире в XIX веке. В этой логике есть три важные линии разлома. Во-первых, она делает различие между изучением западного, «цивилизованного», и несовременного мира. Во-вторых, в пределах западного мира выделяет его прошлое и настоящее. И наконец, в соответствии с предписаниями либеральной идеологии выделяет в современном западном мире три отдельные сферы современной цивилизованной жизни: рынок, государство и общество. С точки зрения эпистемологии, все эти социальные науки можно поместить где-то посередине между естественными и гуманитарными науками; потому-то обе культуры их так и терзали в своем эпистемологическом споре. В действительности же произошло так, что три науки, изучающие настоящее западного мира, — экономика, политология и социология — примкнули к лагерю сциентизма и объявили себя дисциплинами номотетическими. Оставшиеся три дисциплины — история, антропология и востоковедение — не вняли их призывам, считая себя скорее дисциплинами гуманитарного или идиографического характера.

Такое четкое разделение труда базировалось на вполне определенной структуре миросистемы: в мире главенствовал Запад, а все остальное было его колониями или полуколониями. Когда же ситуация изменилась, а случилось это после 1945 года, границы между дисциплинами стали постепенно размываться, от них уже было мало толку и постепенно разделению труда пришел конец. А вот дальнейшая

история социальных наук, а также история идеологий и антисистемных движений напрямую зависят от влияния, которое на миросистему оказала мировая революция 1968 года, к чему мы и подходим.

В условиях геокультуры, которая возникла как отражение трех идеологий и которую удивительным образом поддерживали сами антисистемные движения, созданные, казалось бы, чтобы с нею бороться, социальные науки были призваны обеспечивать интеллектуальную основу моральным оправданиям, благодаря которым все механизмы миросистемы работали как часы. И с этой задачей они успешно справлялись, по крайней мере до того времени, пока не разразилась мировая революция 1968 года.

## 5. КРИЗИС СОВРЕМЕННОЙ МИРОСИСТЕМЫ

### *Бифуркация, хаос и варианты выбора*

У нас уже шла речь о том, что историческая система проживает целую жизнь. Она зарождается в определенное время в определенном месте, и мы можем проанализировать, почему и как это произошло. Если системе удастся выжить в родовых муках, то всю ее последующую историческую жизнь определяют рамки составляющих ее структур, сердце системы бьется в такт циклическим ритмам этих структур, и ей уже никуда не деться от их вековых трендов. А эти тренды рано или поздно достигнут своих асимптов, что значительно обострит внутрисистемные противоречия, иными словами, система натолкнется на проблемы, справиться с которыми уже не сможет. Такую ситуацию можно

назвать системным кризисом. Люди очень часто употребляют слово «кризис», просто чтобы обозначить сложный период в жизни любой системы. Но если трудности можно каким-то образом преодолеть, значит, настоящего кризиса нет и в помине, есть только внутрисистемная проблема. Но если с трудностями, которые есть часть самой системы, в рамках системы справиться *невозможно* и преодолеть их можно только вне данной исторической системы, системный кризис налицо. На языке естественных наук такая ситуация называется бифуркацией, когда основные системные уравнения имеют два совершенно разных решения. А проще говоря, у системы есть два взаимоисключающих варианта выхода из кризиса, и оба, по существу, совершенно реальны. И все живущие в этой системе должны сделать исторический выбор, по которой из дорог идти дальше, какую новую систему строить.

А поскольку наша современная система не может дольше нормально существовать в нынешних рамках, то нам не уйти от вопроса о будущей системе или системах, которые нам предстоит создать. Но каков будет коллективный выбор, предсказать невозможно. Течение бифуркации хаотично, а потому в это время любое самое маленькое явление может иметь значительные последствия. Мы все видим, что в этих условиях систему сильно качает. Но в конце концов она ляжет на какой-то один бок. Обычно проходит много времени, прежде чем становится ясно, на какой именно. Время такой качки называют переходным периодом, и исход его, как правило, совсем не ясен. Но рано или поздно переходный период закончится, и мы очутимся в совершенно другой исторической системе.

Современная миросистема, в которой мы живем и которая является капиталистической мирэкономикой, как раз

переживает такой кризис, и уже довольно долго. Кризис этот может продлиться еще лет двадцать пять, а то и пятьдесят. А поскольку одной из основных черт такого переходного периода являются резкие колебания всех структур и процессов, которые мы привыкли считать неотъемлемой частью нашей миросистемы, то наши кратковременные ожидания оказываются ненадежными. Такая нестабильность может привести к серьезным волнениям и росту насилия, потому что людям свойственно стремление удержать добытые привилегии и положение на иерархической лестнице, когда в любой момент почва может уйти из-под ног. В общем и целом такие процессы могут привести к социальным конфликтам, которые обычно принимают самые неприглядные формы.

Когда начался этот кризис? Зарождение явления — это всегда самый спорный вопрос в науке. Потому что всегда можно найти предтеч и провозвестников практически любого явления как в недавнем прошлом, так, конечно же, и в очень далеком. Очень похоже на то, что история теперешнего системного кризиса начинается с мировой революции 1968 года, которая сильно растревожила все структуры миросистемы. Эта мировая революция ознаменовала собой конец долгого господства либерализма, тем самым сдвинув с привычного места геокультуру, благодаря которой все политические учреждения миросистемы были в целостности и сохранности. Сдвиг геокультуры подорвал основы капиталистической мироэкономики, так что она ощутила на себе всю силу политических и культурных потрясений, которые, конечно, всегда ей угрожали, но до той поры она все же была довольно хорошо от них защищена.

И все же одного шока 1968 года, к которому мы еще вернемся, недостаточно для того, чтобы объяснить системный кризис. В то время сложилась подходящая обстановка: дол-

современные структурные тренды стали приближаться к своим асимптотам, из-за постоянных структурных колебаний все чаще возникали сложные ситуации, справиться с которыми система уже не могла. Только осознав, что собой представляют эти тренды и почему система потеряла способность легко справляться с текущими проблемами, мы сможем понять, как и почему шок 1968 года ускорил распад той геокультуры, что объединяла систему.

Движимые постоянной жадой наживы, капиталисты беспрестанно выискивают возможности повысить цену на свою продукцию и снизить расходы на ее производство. Но производители не могут произвольно поднимать цены до любого уровня. Не делают они этого исходя из следующих соображений. Во-первых, существуют конкуренты, продающие аналогичный товар. Именно поэтому так важны олигополии, ведь они сокращают число конкурентов. А во-вторых, производители не могут забывать об эффективном спросе, то есть о том, сколько денег имеют в целом все покупатели и какой выбор они сделают в случае, если их потребительские возможности будут ограничены.

Уровень эффективности спроса в первую очередь зависит от мирового распределения доходов. Очевидно, что чем больше денег у каждого отдельного покупателя, тем больше он или она может купить. И этот простой факт является постоянной неотъемлемой дилеммой капитализма. С одной стороны, капиталисты хотят, чтобы их прибыли были как можно выше, а потому минимизируют размер прибавочной стоимости, которая предназначена для кого-то другого, например для их же работников. С другой стороны, по крайней мере некоторые капиталисты должны позволить какое-то перераспределение этой прибавочной стоимости, или их товары просто некому будет покупать. Так что время

от времени некоторые производители идут на повышение вознаграждения своим сотрудникам, дабы повысить эффективность спроса.

Имея уровень эффективного спроса в определенный момент времени, выбор потребителей определяется эластичностью спроса, как говорят экономисты. Эластичность показывает, какую ценность каждый покупатель придает тому или иному варианту траты своих денег. Покупки в глазах покупателя имеют различную ценность: есть жизненно необходимые вещи, а есть вовсе необязательные. Такая оценка формируется во взаимодействии индивидуальной психологии с культурным нажимом и физиологическими потребностями. Продавцы не могут серьезно влиять на эластичность спроса, хотя маркетинг во всевозможных его проявлениях придумали именно для того, чтобы направлять выбор покупателей.

Общий вывод, который из всего этого делает продавец, заключается в том, что он не может поднимать цену на свой товар выше, если а) конкуренты могут продавать дешевле, б) у покупателей нет денег, чтобы купить его товар, и в) покупатели не готовы выложить столько денег за эту покупку. Зная верхний предел отпускной цены, производители изо всех сил стараются придумать, как бы им накопить свой капитал за счет снижения издержек производства, часто это называют эффективностью производства. Для понимания того, что происходит в современной миросистеме, давайте посмотрим, почему, несмотря на все старания производителей, издержки производства во всем мире постоянно растут, тем самым уменьшая зазор между издержками производства и возможными отпускными ценами. Другими словами, нам нужно разобраться, почему по всему миру норма прибыли становится все меньше и меньше.

У любого производителя всегда есть три основные производственные издержки. Производитель обязан вознаграждать тех, кто работает у него на предприятии. Производитель обязан покупать все необходимое для производственного процесса. А также производитель обязан платить налоги в пользу всех тех государственных структур, которые имеют хоть какое-то отношение именно к его производству. Давайте проанализируем по очереди каждую из этих издержек и посмотрим, почему же все они росли на всей длительной протяженности (*longue durée*) существования капиталистической мирэкономии.

Как работодатель определяет, сколько платить своим работникам? На этот счет могут существовать законы, определяющие минимальный уровень. Естественно, в каждом определенном месте в определенное время люди знают, за какую работу сколько платят, хотя эти суммы и постоянно пересматривают. В основном работодатель практически всегда предпочитает платить своим работникам меньше, чем они бы хотели. Работодатель и работник ведут переговоры на эту тему, они возвращаются к этому вопросу снова и снова, и эта борьба носит постоянный характер. Исход таких переговоров или борьбы зависит от того, насколько стороны сильны в политическом, экономическом и культурном плане.

Работники могут оказаться сильнее в этих торгах, если, например, они обладают навыками, которые редко встречаются. Вообще, при определении размера вознаграждения всегда присутствует элемент спроса — предложения. Еще работники могут объединиться и затеять профсоюзную борьбу со своим работодателем и таким образом повысить свои шансы на достойную оплату труда. Это касается не только рабочих производства, квалифицированных специалистов и разнорабочих, но и управленцев, старших ме-

неджеров и персонала среднего звена. Этот вопрос внутреннего устройства стоит перед каждым предприятием, и от его решения во многом зависит его экономическая мощь. Есть еще и внешняя сторона вопроса. Общее состояние экономики в стране и вообще в мире определяет уровень безработицы, и тогда размер вознаграждения зависит от степени отчаяния каждой из сторон в каждом производственном подразделении.

Политическая сила зависит от сочетания многих факторов: от политических решений и договоренностей с государственными органами, от роли синдикалистских организаций рабочих и от того, насколько работодатели нуждаются в поддержке своих управляющих и персонала среднего звена, чтобы удерживать на расстоянии рабочих с их требованиями. Ну, а местные и национальные традиции в трудовых отношениях, то есть то, что мы имеем в виду под культурной силой, являются результатом предыдущих политических завоеваний.

В общем, в любой производственной отрасли благодаря образованию и хорошей организации синдикалистская сила рабочих с течением времени растет. Конечно, против таких организаций можно применять репрессивные меры, но это тоже накладно: возможно, в таком случае придется платить больше налогов, а может быть, повысить заработную плату или нанять дополнительный карательный персонал. Если взглянуть на то, как работают самые высокодоходные предприятия, компании, входящие в олигополии в ведущих отраслях, то окажется, что они-то руководствуются совсем иными соображениями: высокодоходные предприятия не тратят производственное время на недовольство своих рабочих. В результате размер расходов на вознаграждение со временем увеличивается, но рано или поздно такое пред-

приятие обязательно столкнется с возросшей конкуренцией и будет вынуждено попридержаться цены на свою продукцию, а соответственно, получит меньше прибыли.

Существует только один по-настоящему действенный способ борьбы против роста компенсационных издержек — «беглая фабрика». Переводя производство туда, где текущие производственные издержки намного ниже, производитель не только снижает издержки на вознаграждение рабочих, но приобретает политический вес там, откуда он частично выводит свое производство, потому что его рабочие могут смириться с меньшей зарплатой, лишь бы не остаться вообще без работы. Конечно, в данной ситуации есть и отрицательные моменты для работодателя. Если бы их не было, все производство давно бы поменяло место дислокации. Перевод производства сам по себе стоит немало. И на новом месте, как правило, выше операционные издержки, поскольку теперь расстояние до конечного потребителя увеличивается, а инфраструктура развита плохо и к тому же здесь гораздо выше «коррупционные» издержки, то есть расходы на вознаграждение людей, которые не работают на данном предприятии.

Попеременно на первый план выходят то компенсационные издержки, то операционные. В период экономического роста (Кондратьевская фаза А) предприниматели задумываются прежде всего об операционных издержках; значение же компенсационных расходов возрастает, когда экономика идет на спад (Кондратьевская фаза Б). И все же закономерно встает вопрос: почему вообще в мире существуют районы с более низкой оплатой труда? Ответ на этот вопрос кроется в размере негородского населения той или иной страны или региона. Если в стране много негородского населения, то, соответственно, и много людей, которые час-

тично или почти полностью находятся вне экономики наемного труда. И если изменения в землепользовании в деревне вынуждают их покинуть насиженные места, то для таких людей возможность наняться на работу в городе обычно означает серьезное увеличение совокупного дохода домохозяйства, даже если их заработная плата намного ниже общепринятой нормы. Так что по крайней мере на первых порах, когда такие люди вливаются в армию наемных работников, это выгодно обеим сторонам — у работодателей снижаются компенсационные издержки, а у работников увеличивается доход. В этих районах можно меньше платить не только неквалифицированным рабочим, но и персоналу среднего звена. В странах периферии зарплаты обычно ниже, чем в странах ядра, потому что там все стоит дешевле и люди привыкли обходиться меньшим.

Но проблема заключается в том, что взаимоотношения работодателей и работников невозможно закрепить раз и навсегда. Они меняются. Поначалу вчерашние крестьяне с трудом осваиваются в городе и не знают, каким потенциалом политической силы обладают, но такое неведение далеко не вечно. Естественно, что лет через двадцать пять эти работники или их потомки привыкнут к условиям новой жизни и поймут, насколько мало они получают за свой труд по сравнению с такими же рабочими в других странах. И постепенно они станут участвовать в синдикалистских акциях. Тогда работодатель увидит, что история повторяется, что именно этой ситуации он пытался избежать, переводя свое производство. И в конце концов, как только наметится экономический спад, производитель снова попытается прибегнуть к тактике «беглой фабрики».

Однако со временем в капиталистической мироэкономике остается все меньше регионов, где таким образом

можно решить проблему роста компенсационных издержек. Количество сельского населения в мире стремительно падает во многом именно из-за того, что многие производители пытаются сократить свои издержки путем перевода производств. Во второй половине XX века доля населения, живущего в сельской местности, разительно упала. И судя по всему, в первой половине XXI века в мире вообще не останется районов серьезной концентрации сельского населения. А когда фабрикам будет некуда бежать, производителям по всему миру уже не удастся сдержать рост расходов на вознаграждение своих наемных работников.

Но постепенный рост уровня вознаграждения не является единственной проблемой, с которой сталкиваются производители. Есть еще производственные затраты. Под производственными затратами я подразумеваю и оборудование, и необходимое для производства сырье, будь то первичное сырье, или полуфабрикат, или полностью готовая продукция. Производитель, конечно же, покупает все это на рынке и платит полную рыночную стоимость. Но есть еще три скрытых издержки, которые производитель может и не покрывать. Это расходы, связанные с утилизацией отходов, особенно токсичных, расходы на возобновление ресурсной базы и так называемые инфраструктурные издержки. Существует множество вариантов избежать этих расходов, не тратить на них деньги, и есть основной способ снизить производственные издержки.

Самый верный способ минимизировать издержки по утилизации отходов — просто выбросить их, то есть оставить в каком-нибудь месте общественного пользования: можно подвергнуть отходы какой-нибудь предварительной обработке, а можно выбросить как есть. Если отходы токсичны, то, помимо загрязнения окружающей среды, такая утилизация бу-

дет иметь губительное воздействие на экосистему. В какой-то момент все это станет проблемой всего общества, и общество будет вынуждено что-то с этим делать. Но с загрязнением окружающей среды дело обстоит точно так же, как и с отсутствием поблизости сельского населения. Производитель всегда может перенести производство в другое место, уходя таким образом от проблемы, и так будет продолжаться до тех пор, пока не закончатся «незагрязненные» территории. Именно это и происходит в нашей мироэкономике повсеместно. Ведь только во второй половине XX века общество осознало, что скоро не останется территорий, куда можно сбрасывать отходы, и что это серьезная социальная проблема.

Рука об руку с ней идет проблема возобновления сырья. Покупая сырье, мало кто заботится о том, на сколько его еще хватит. К сожалению, продавцы тоже предпочитают получить выгоду сегодня, не думая о том, что останется на завтра. На протяжении последних пятисот лет запасы сырья постепенно истощались, а расходы на приобретение этого сырья росли. Технический прогресс создал различные виды альтернативного сырья, но это помогло лишь отчасти.

Проблемы свалки отходов и возобновления запасов полезных ископаемых стали в последние десятилетия основными вопросами общественных движений защитников окружающей среды и зеленых: они хотели, чтобы власти вмешались и защитили интересы общества. Но чтобы защитить эти интересы, нужны деньги, много денег. А кто будет платить? Существует всего лишь два реальных варианта: либо общество, которое платит налоги, либо производители, которые использовали сырье. В каком объеме производителей обяжут оплатить эти издержки (экономисты это называют интернализацией издержек), в том же объеме увеличатся производственные издержки каждого отдельного производителя.

И наконец, существует проблема инфраструктуры, к которой относятся все учреждения и сооружения за пределами производства, которые тем не менее абсолютно необходимы для процесса производства и распределения, — это дороги, транспортные службы, системы коммуникации, безопасности и водоснабжения. Все это стоит дорого, очень дорого. И кто будет платить по счетам? И снова: либо граждане — через налогообложение, либо отдельные компании — через повышение издержек. Здесь нужно отметить, что если инфраструктура частично приватизирована, то по счетам платят отдельные фирмы, даже если другие фирмы получают прибыли, пользуясь этой инфраструктурой, и даже если отдельные лица платят больше, когда сами ею пользуются.

Тот факт, что производственные фирмы заставляют принимать на себя эти издержки, означает для них значительное увеличение производственных издержек, которые со временем перекрывают те преимущества, которые компании получают от усовершенствования технологии. Более того, интернализация издержек оставляет без внимания растущую проблему, связанную со штрафами, которые налагают на компании суды и государственные органы, за урон, нанесенный природе их былой халатностью.

Третья издержка, которая со временем только растет, это налоги. Налоги — основной элемент общественной организации. Налоги в той или иной форме существовали всегда и всегда будут существовать. Но политические баталии о том, кому и сколько платить, не утихают никогда. В современной миросистеме есть две причины собирать налоги. Нужно обеспечить государственные структуры средствами, на которые они бы могли содержать службы безопасности (армию и полицию), строить инфраструктуру, содержать бюрократический аппарат, который бы служил обществу и со-

бирал налоги. От этих издержек никуда не деться, хотя очевидно, что не может быть единого мнения о том, сколько денег и на что тратить.

Однако есть еще одна причина собирать налоги, в полной мере проявившаяся совсем недавно — только в прошлом веке. Эта вторая причина является прямым следствием политической демократизации, благодаря которой граждане смогли требовать от своего государства предоставить им три важные привилегии: образование, здравоохранение и гарантии пожизненного дохода. Когда государство в XIX веке впервые стало оказывать своим гражданам эти услуги, его расходы были довольно малы, да и на них пошли лишь несколько стран. На протяжении XX века граждане стали ожидать от своих государств все больше и больше, а число государств, готовых на такие услуги, выросло. По всей вероятности, сегодня уже невозможно понизить уровень этих издержек.

Поскольку повсеместно расходы на обеспечение порядка, развитие инфраструктуры, предоставление гражданам образования, медицинских услуг и гарантий пожизненного дохода растут не только в абсолютном выражении, но и пропорционально мировой прибавочной стоимости, то, соответственно, и для предприятий доля издержек на оплату налогов постепенно растет и будет продолжать расти.

Вот и получается, что три издержки производства — компенсационные, операционные и налоговые — постепенно росли на протяжении последних пятисот лет и особенно быстро в последние пятьдесят лет. С другой стороны, отпускные цены за этим ростом не поспевали, даже несмотря на возросший спрос; такая ситуация сложилась из-за того, что постоянно появлялись новые производители, которые не могли поддерживать правила, принятые олигополиями. Вот что подразумевается под «сжатием» прибыли. Несомненно,

мненно, производители все время, даже сейчас, пытаются развернуть вспять такие условия. И чтобы по достоинству оценить, насколько ограничены их возможности, давайте вернемся к культурному потрясению 1968 года.

После 1945 года в мировой экономике наблюдался крупнейший рост структур производства за всю историю существования современной миросистемы. В результате все структурные тренды, о которых у нас шла речь, издержки на вознаграждение, на сырье и на уплату налогов, взмыли ввысь. Одновременно антисистемные движения, которые мы описывали несколько раньше, значительно продвинулись в достижении своей первостепенной цели — им удалось прийти к власти. Казалось, что во всех частях света эти движения осилили первую ступень своей двухступенчатой программы. На огромных пространствах северного полушария от Центральной Европы до Восточной Азии (от Эльбы до Ялу) у власти были коммунистические режимы. В панъевропейском мире (Западная Европа, Северная Америка и Австралия с Океанией) у руля стояли социал-демократические и подобные им партии, или по крайней мере они периодически приходили к власти. В остальных районах Азии и практически по всей Африке победили национально-освободительные движения. А в Латинской Америке власть взяли национал-популисты.

Период после 1945 года стал временем великого оптимизма. Будущее экономики казалось безоблачным, складывалось впечатление, что всем этим популярным движениям удастся достичь заветных целей. Казалось даже, что Вьетнаму, маленькой стране, борющейся за свою независимость, удастся держать под контролем огромного гегемона — Соединенные Штаты Америки. Никогда раньше у человечества не было такой уверенности в том, что все в современной ми-

росистеме в порядке: это чувство не только воодушевляло, но и стабилизировало общество.

Тем не менее постепенно росло разочарование в тех же популярных движениях. Реализация второго шага программы — преобразование мира — на практике оказалась намного дальше, чем многие надеялись. Несмотря на общий экономический рост, наблюдавшийся по всей миросистеме, разрыв между странами ядра и периферии вырос как никогда. И, несмотря на то, что антисистемным движениям удалось прийти к власти, казалось, что великий единый порыв периода мобилизации сникал, как только движение захватывало власть в той или иной стране. Появилась новая привилегированная каста. Простых людей теперь просили воздержаться от агрессивных требований в адрес правительства, которое теперь было их представителем. Когда будущее стало настоящим, многие в прошлом пылкие борцы пересмотрели свои прежние позиции, и в движениях начались расколы.

Именно сочетание давнего недовольства работой миросистемы с разочарованием в возможностях антисистемных движений переделать мир и привело к мировой революции 1968 года. Практически везде, где вспыхивала революция 1968 года, несмотря на местные особенности, повторялись два мотива. Во-первых, остро чувствовалось неприятие власти США как гегемона и одновременно недовольство Советским Союзом, который, вроде бы будучи антагонистом Соединенных Штатов, на самом деле только поддерживал созданный Штатами миропорядок. А во-вторых, традиционные антисистемные движения не выполнили своих обещаний, придя к власти. Это сочетание повторялось так часто, что в конце концов разразилось настоящим культурным взрывом. Множество восстаний напоминали птицу феникс; мало кому из революционеров удалось прийти к вла-

сти, а если и удалось, то ненадолго. Но они лишний раз подтвердили, что разочарование есть, причем разочарование не только в старых антисистемных движениях, но и в новых созданных ими режимах. Долгая уверенность и надежда на эволюционный прогресс сменились страхом, что миросистему переделать невозможно.

Такая смена настроений в мировом масштабе отнюдь не пошла на пользу существующему положению дел, наоборот, она лишила капиталистическую мирозкономику политической и культурной поддержки. Никогда больше угнетенные не будут уверены, что история на их стороне. Никогда больше не будут они довольны постепенными переменами в надежде на то, что их дети и внуки пожнут плоды их страданий. Никогда больше не удастся их уговорить подождать с сиюминутными требованиями во имя светлого будущего. То есть теперь многочисленные производители капиталистической мирозкономики лишились основного стабилизирующего элемента системы — оптимизма угнетенных. И случилось это как всегда в самый неподходящий момент: когда перед ними серьезно встала проблема «сжатия» прибыли.

Культурный шок 1968 года нарушил само собой разумеющееся господство либерального центра, превалирующего в миросистеме со времен предыдущей мировой революции 1848 года. Правые и левые наконец избавились от роли аватар центристского либерализма и смогли еще раз заявить о том, что они-то придерживаются более радикальных ценностей. Миросистема вступила в переходный период, и правые и левые решили воспользоваться ситуацией нарастающего хаоса, чтобы обеспечить господство своих ценностей в новой системе (или системах), которая появится после кризиса.

Складывалось впечатление, что перво-наперво мировая революция 1968 года закрепила левые ценности прежде всего

в том, что касалось отношений рас и полов. Расовая дискриминация пронизывала современную миросистему на протяжении всего ее существования, а ее правомерность, несомненно, вызывала вопросы последние лет двести. Но только после революции 1968 года протест против расизма стал всемирным, причем теперь его инициировали сами угнетенные группы в отличие от прошлой борьбы, которую, как правило, возглавляли либералы из состава основного населения. Этот протест стал основным явлением на мировой политической арене, повсеместно он выливался в движения воинственно настроенных «меньшинств», а также в попытки восстановить мир знания, сделать вопросы хронической расовой дискриминации центральной темой интеллектуальных обсуждений.

Говоря о дебатах на тему расизма, трудно оставить без внимания другой центральный вопрос, который подняла революция 1968 года, — вопрос сексуальности. Идет ли речь о политике в отношении полов или о сексуальных предпочтениях, или даже о транссексуальной идентичности, благодаря революции 1968 года все медленные перемены в сексуальных привычках последних пятидесяти лет вышли на передний план и во всеуслышание заявили о себе миру, что имело серьезные последствия для законотворчества, для повседневной жизни, для религий и для интеллектуального мира.

Традиционные антисистемные движения во главу угла ставят вопросы государственной власти и экономического устройства. Воинствующая риторика 1968 года обошла вниманием обе эти темы, сделав основной упор на проблемах расовой и сексуальной дискриминации. И это поставило в тупик правых во всем мире. Правым всегда гораздо легче давались вопросы геополитического и экономического характера, нежели социокультурные проблемы, а все из-за позиции либералов-центристов, которые крайне враждебно

относились к любым подрывным действиям в отношении основ политических и экономических структур капиталистической мирозкономики, зато социокультурные сдвиги, которые пропагандировали революционеры 1968 года, они втайне поддерживали или по крайней мере ничего не имели против. В результате реакция на революцию 1968 года приняла два направления: с одной стороны истеблишмент попытался восстановить порядок и решить непосредственные проблемы, связанные со сжатием прибыли; с другой же стороны, началась культурная контрреволюция — движение, имевшее меньше поддержки, но гораздо более жестокое. Очень важно различать эти два направления, а соответственно, и два стратегических блока.

Поскольку как раз в это время мирозкономика вступила в длительную фазу Б Кондратьевского цикла, коалиция центристских и правых сил предприняла попытку снизить расходы производителей по всем трем составляющим растущих издержек производства. Они решили снизить уровень вознаграждения. Они решили снять с производителей расходы по восполнению запасов сырья. Они решили уменьшить налоги, средства от которых должны были пойти на благо всего общества — на образование, медицину и пожизненно гарантированный доход. Это наступление принимало различные формы. Центр и думать забыл о теме развития, с помощью которой он хотел побороть поляризацию в мире; ей на смену пришла тема глобализации, которая требовала открыть границы и обеспечить свободное движение товаров и капитала, но не рабочей силы. Прежде других этого курса, который в теории назывался неолиберализмом, а в политической практике — «Вашингтонским консенсусом», стали придерживаться режимы Тэтчер в Великобритании и Рейгана в Соединенных Штатах Америки. Главной площадкой

для продвижения этой теории стал Всемирный экономический форум в Давосе, а Международный Валютный Фонд (МВФ) и не так давно созданная Всемирная Торговая Организация (ВТО) проводят принципы Вашингтонского консенсуса в жизнь.

Из-за экономических трудностей, на которые правительства во всем мире стали наталкиваться, начиная с 1970-х годов (в особенности в южных и бывших коммунистических странах), государствам, во главе которых стояли представители старых антисистемных движений, было крайне трудно противостоять требованиям провести «структурное переустройство» и открыть границы. В результате предпринятых шагов все-таки удалось немного снизить производственные издержки, но успех оказался гораздо меньше, чем ожидали сторонники этой политики, и гораздо меньше того, что было необходимо, чтобы покончить со сжатием прибыли. Все чаще капиталисты стали искать источники прибыли в финансовых спекуляциях, а не в производстве. Такие финансовые манипуляции приносят некоторым игрокам огромные прибыли, но в то же время дестабилизируют мировую экономику, обеспечивая ей колебания курсов валют и безработицы. А это, кстати сказать, один из признаков нарастающего хаоса.

Между тем левых всего мира стали все меньше заботить предвыборные цели, вместо этого они решили создать единую организацию — «движение движений», которое теперь у нас ассоциируется с Всемирным социальным форумом (ВСФ), который впервые собрался в Порту-Алегре, и название этого города стало его символом. ВСФ — не организация, а площадка, где встречаются активисты всех толков и убеждений; по всему миру они проводят разнообразные акции — от демонстраций, которые могут быть региональными или все-

мирными, до мероприятий локального масштаба. Их лозунг «Мир может быть другим» очень выразителен в том смысле, что миросистема находится в структурном кризисе и что политические варианты вполне реальны. Борьба между духом Давоса и духом Порту Алегре усиливается на всех фронтах.

Еще одним показателем мирового политического хаоса и перегруппировки политических сил стала полная драматизма атака Усамы бин Ладена на башни-близнецы 11 сентября 2001 года. Она позволила правым, которые наконец получили возможность порвать с центром, приступить к выполнению программы, основанной на одностороннем утверждении военной силы Соединенных Штатов, а также предпринять попытку уничтожить плоды культурной эволюции, наметившейся в миросистеме после революции 1968 года, особенно в том, что касается расовой и половой дискриминации. По ходу дела они решили ликвидировать многие геополитические структуры, созданные после 1945 года, которые, как им показалось, мешали их курсу. Но такие потуги могли только усугубить и без того растущую нестабильность в миросистеме.

Это эмпирическое описание хаотической ситуации, сложившейся в миросистеме. Чего же нам от нее ждать? Во-первых, хотелось бы отметить, что нас ожидают резкие колебания во всех секторах миросистемы, что мы, собственно, видим уже сегодня. Мирозкономика находится под сильным спекулятивным гнетом, неподвластным основным финансовым учреждениям и контролирующим органам, например центральным банкам. Растет насилие, но усилий и возможностей власти недостаточно, чтобы решительно покончить с этим насилием. Значение моральных принципов, которые традиционно прививали своему народу государство и церковь, практически сошло на нет.

Но, с другой стороны, тот факт, что система в кризисе, отнюдь не означает, что она вовсе отказалась от попыток действовать по-старому, по-привычному. Она пытается. Но в этом случае долговременные тренды все ближе приближаются к своим асимптотам, что только обостряет кризис. И все же большинство людей всегда предпочитают жить, как они привыкли. В этом есть смысл, но на очень небольшой срок. Привычная жизнь человеку хорошо знакома, он знает, какие преимущества она может ему дать, иначе это не была бы его привычная жизнь. Именно из-за того, что колебания в миросистеме становятся все сильнее, большинство людей постарается укрыться от них в стереотипах привычной жизни.

Несомненно, в среднесрочном плане самые разные люди попробуют приспособиться к системе в надежде, что она сумеет облегчить возникшие трудности. Это тоже стереотип: память множества людей хранит примеры, что так оно бывало в прошлом, а значит, должно сработать и на этот раз. Но проблема в том, что в условиях системного кризиса даже от такого среднесрочного приспособленчества проку мало. Как мы уже говорили, этим как раз системный кризис и отличается.

Некоторые предпочтут пойти по пути изменений, хотя будет похоже, что они тоже подстраиваются под систему. Такие люди надеются извлечь выгоду из сильных колебаний переходного периода и зафиксировать принципиальные изменения в рабочих режимах системы, направив процесс в ту или иную сторону. Вот эта модель поведения и будет иметь самые серьезные последствия. В нашей ситуации именно с этой точки зрения нужно оценивать борьбу духа Давоса и духа Порту Алегре. Возможно, пока большинство людей этой борьбы не замечают. И, уж конечно, большинство активистов только рады отвлечь внимание от своей борьбы

и от своих настоящих целей, рассчитывая добиться их без всякого противодействия, которое может появиться в случае открытого объявления этих целей.

Вот, собственно, и все, что можно сказать об этой борьбе. Она разворачивается на наших глазах, одна из основных ее черт — полная непредсказуемость результатов, другая — непрозрачность самой борьбы. Кто-то может сказать, что мы наблюдаем столкновение базовых ценностей или даже «цивилизаций», но это верно лишь до тех пор, пока мы не решим отождествить каждую из сторон с каким-то определенным народом, расой, религией или какой-нибудь другой исторически сложившейся общностью. Самое главное в этих спорах — определить, насколько любая социальная система, в данном случае будущая система, которую мы строим, готова опираться на две фундаментальные давно всеми признанные основы социального устройства — свободу и равенство, а эти понятия связаны между собой намного крепче, чем готова признать социальная наука современной миросистемы.

В современном мире столько говорят на тему свободы или «демократии», что порой даже трудно по достоинству оценить, что же это такое. Нам представляется полезным различать свободу большинства и свободу меньшинства. Свобода большинства определяется тем, насколько коллективные политические решения отражают чаяния большинства, а не только тех небольших групп, что контролируют процесс принятия решений. И дело не только в так называемых свободных выборах, хотя, несомненно, регулярные честные открытые выборы являются обязательным, но вовсе не достаточным условием демократии. Свобода большинства подразумевает активное вовлечение большинства. Она подразумевает, что большинство имеет доступ к информации. Свобода большинства подразумевает, что есть механизмы

трансляции взглядов большинства населения во взгляды большинства в законодательных органах. Вряд ли в современной миросистеме есть хоть одно государство, которое отвечало бы всем этим требованиям истинной демократии.

Со свободой меньшинства дело обстоит совсем иначе, потому что это право отдельных лиц или групп действовать, как им вздумается в тех областях, на которые не распространяется право большинства навязывать всем одни и те же правила игры. В общем-то, практически все государства современной миросистемы на словах признают право всех и каждого поступать по-своему. Некоторые восхваляли эту идею не только как средство защиты, но как положительный момент в деле построения полной разнообразия исторической системы. Традиционные антисистемные движения считали своей основной задачей добиться свободы, которую мы называли свободой большинства. А революционеры 1968 года прежде всего стремились дать свободу меньшинствам.

Даже если предположить, что все в мире поддерживают свободу, хотя это и опрометчивое предположение, все равно всегда будет очень трудно определить, где проходит граница между свободой большинства и свободой меньшинств, в каких сферах, в каких вопросах первенство принадлежит большинству, а в каких меньшинству. Но в борьбе за то, какой быть системе (или системам), которая придет на смену нашей миросистеме, основной раскол произойдет между теми, кто собирается расширять свободу и большинства и меньшинств, и теми, кто постарается создать систему несвободных, делая вид, что нужно сделать выбор между свободой большинства и свободой меньшинств. Вполне понятно, какую роль играет непрозрачность в такого рода борьбе: непрозрачность ведет к замешательству, а это на руку тем, кто хочет ограничить свободу.

Концепцию равенства часто преподносят как противоречащую концепции свободы, особенно если речь идет об относительном равенстве доступа к материальным благам. А в действительности это просто другая сторона той же медали. До тех пор пока существует сильное неравенство, нельзя и помыслить о том, чтобы все люди имели равный вес при определении предпочтений большинства. Также трудно представить себе, что все станут уважать свободу меньшинства, если это меньшинство не будет им равным: только равные социально и экономически могут быть равными политически. Если внимательно подойти к концепции равенства, можно найти такое положение большинства, которое позволит ему не только пользоваться своей свободой, но и поддерживать свободу меньшинств.

Строя систему (или системы), которая наследует нашей существующей миросистеме, придется сделать выбор между иерархической системой, где блага и привилегии каждый будет получать согласно своему месту в системе, как бы это место ему не досталось, пусть даже благодаря хорошим способностям, и относительно демократичной системой, где будет существовать относительное равенство. Одна из величайших заслуг нашей теперешней системы заключается в том, что хотя она и не сумела решить эти вопросы, но подняла их и вынесла на всенародное обсуждение. Мало кто станет возражать, что сегодня люди гораздо лучше разбираются в этих вопросах, чем сто лет назад. Что уж говорить о времени пятивековой давности! Теперь люди лучше осведомлены, у них больше готовности бороться за свои права, они с большим скепсисом воспринимают разглагольствования власть предержащих. Несмотря на всю поляризованность нашей миросистемы, это и есть то доброе, что она нам оставляет в наследство.

Всегда период перехода от одной системы к другой сопровождается большой борьбой, большими сомнениями и большими вопросами о структурах знания. Перво-наперво нам нужно понять, что же происходит. А потом принять решение, в какую сторону мы хотим, чтобы двигался наш мир. Нам нужно наконец осознать, что сегодня мы должны сделать все возможное, чтобы мир пошел туда, куда хочется нам. Это задачи интеллектуального, морального и политического плана. Все они разные, но крепко связаны друг с другом. Ни одному человеку не удастся уклониться ни от одной из них. А если кто-то и скажет, что его это не касается, то это будет означать только то, что свой выбор он сделал втайне. Перед нами стоят исключительно трудные задачи. Но, решив их, мы, все вместе и каждый в отдельности, сможем создать или по крайней мере принять участие в создании чего-то такого, что, возможно, позволит нам гораздо лучше реализовывать наши возможности.

## ГЛОССАРИЙ

Это глоссарий понятий, которые я использовал в книге. Глоссарий понятий — это вовсе не словарь. Для большинства терминов, которые вы в нем найдете, однозначных определений не существует. Ученые довольно часто ими пользуются, но каждый понимает их по-своему, основываясь на различных предположениях и теоретических выкладках. Здесь я собрал те термины, которыми пользуюсь сам, и попытался объяснить, какое значение я в них вкладываю. Кое-что вам покажется стандартным. Но в ряде случаев мое понимание терминов намного отличается от понимания других авторов. Иногда мое понимание того или иного термина тесно связано с каким-то другим термином, потому что они, на мой взгляд, представляют собой реляционную пару. Почти все эти термины я описал, подробно или вскользь, в основном тексте книги. Но, может быть, читатель сочтет для себя полезным иметь возможность быстро получить точное определение. Перекрестные ссылки от одного термина к другому обозначены маленькими заглавными буквами.

*Антисистемные движения.* Я придумал этот термин, чтобы объединить два понятия, появившиеся еще в XIX веке — социальные движения и национальные движения. Я решил, что это оправданно, поскольку у этих движений были очень важные общие черты, они представляли собой параллельный формы сопротивления существующей исторической

системе, в которой мы живем, и те и другие хотели разрушить ее.

*Азиатский способ производства.* Этот термин изобрел Карл Маркс для обозначения того, что все привыкли считать централизованной имперской системой, созданной по причине того, что нужно было поддерживать и контролировать ирригационную систему. Главным для Маркса было то, что эти системы не вписывались в его всеобщую последовательность развития «способов производства», то есть система производства здесь была организована по-другому.

*Асимптота.* Математическое понятие, обозначающее линию, с которой определенная кривая не может пересечься на ограниченном пространстве. Чаще всего используется для кривых, чья ордината измеряется в процентах и для которых 100 % является асимптотой.

*Ведущие товары.* Понятие появилось не так давно среди экономистов, которые считают, что для каждого отрезка времени существуют свои ведущие товары, а ведущими их называют по причине их высокой прибыльности, относительной монополизированности и большого значения для экономики. А поскольку ведущие товары сулят большие прибыли, все больше производителей-конкурентов стараются войти на этот рынок, и в какой-то момент ведущая отрасль перестает быть ведущей.

*ВремяПространство.* Понятие изобрели совсем недавно. То, что слова пишутся слитно и с большой буквы, означает, что каждому СОЦИАЛЬНОМУ ВРЕМЕНИ соответствует свое социальное пространство. Социологам следует рассматривать

и изучать их не по отдельности, а вместе, поскольку эти понятия слиты в конечное число комбинаций.

*Выведение издержек (экстернализация).* Термин экономистов, используется для обозначения методов, которые позволяют производителям не расходовать средства на некоторые издержки производства, но вывести их за скобки, переложить на других, например на все общество.

*Гегемония.* Этим термином пользуются очень вольно, просто чтобы сказать о том, кому в политической ситуации принадлежит лидерство или превосходство. Антонио Грамши, итальянский коммунист-теоретик, в продолжение Макиавелли настаивал на том, что нельзя забывать об идеологической и культурной составляющей, что власть может стать легитимной лишь после того, как получит признание всего населения, только таким образом элита сможет стать у руля. Миросистемный анализ понимает этот термин более узко. Говоря о гегемонии, мы имеем в виду, что одно государство имеет экономическое, политическое и финансовое превосходство над другими сильными государствами и к тому же оно лидирует в военной и культурной сферах. Державы-гегемоны определяют правила игры. Из такого определения видно, что гегемонии долго не живут, разрушая сами себя.

*Геокультура.* Термин придумали по аналогии с геополитикой. Им обозначают нормы и методы, принятые в научном обиходе как правомерные для данной миросистемы. Мы здесь доказываем, что геокультура не появляется сама по себе с зарождением миросистемы, ее нужно создавать.

*Геополитика.* Термин XIX века, обозначает расстановку и пе-

ретасовку политических сил в системе межгосударственных отношений.

*Герменевтика.* Изначально: ученое толкование библейских текстов. В настоящее время термин понимается шире и относится вообще к эпистемологии, позволяющей исследователю особо выделить и растолковать значение социального действия в противовес анализу, основанному на «объективных» методах познания, например статистических.

*Глобализация.* Этот термин появился в 1980-е годы. Принято считать, что он отражает изменение конфигурации мироэкономики, которое произошло не так давно и в соответствии с которым все государства вынуждены открывать свои границы свободному движению товаров и капитала. Доказывают, что это следствие технического прогресса в первую очередь в области информатики. Это больше предписание, нежели описание. Сторонники миросистемного анализа видят в том, что все считают новым (в относительно открытых границах), очередной циклический эпизод в истории современной миросистемы.

*Государство.* В современной миросистеме государством называется ограниченная территория, претендующая на СУВЕРЕНИТЕТ и господство над своими подданными, которых теперь называют гражданами. На сегодняшний день вся суша Земли, за исключением Антарктиды, поделена между государствами, и нет земли, которой бы владели сразу несколько государств, хотя территориальные претензии все же остаются. Государству принадлежит монопольное право применять военную силу на своей территории, конечно, в рамках законов этого государства.

*Государство-нация.* Фактически это идеал, к которому стремятся все или почти все, современные государства. В таком государстве все люди считаются людьми одной нации, а потому у них одни ценности и одни обязательства верноподданства. В разных странах нацию понимают по-разному. Почти всегда быть нацией значит обязательно говорить на одном языке, часто — исповедовать одну религию. Принято считать, что нация имеет общее прошлое, восходящее к догосударственным временам. Но многое из этого, не все конечно, — миф. Практически не существует государств, которые можно было бы назвать государствами-нациями в чистом виде, хотя мало кто это готов признать.

*Гражданское общество.* Этот термин придумали еще в начале XIX века, но особую популярность он приобрел в конце XX века. Изначально его понимали как противоположность «государству». В то время во Франции различали *le pays légal*, страну закона или попросту государство, и *le pays réel*, реальную страну или гражданское общество. Такое разграничение подразумевало, что насколько государственные институты не являются отражением общества, то есть всех нас, настолько незаконно такое государство. В последние годы значение термина сузилось, им теперь, как правило, пользуются для обозначения «негосударственных организаций», одновременно имея в виду, что государство не может быть воистину демократичным, если у него нет сильного «гражданского общества». Еще этим термином часто называют все те учреждения, которые нельзя строго классифицировать как экономические и политические, примеры этому вы найдете в книге.

*Гранд нарратив (всеохватывающая повесть).* Критический термин, который применяли пост-модернисты ко всем методам

анализа, где было чересчур много описаний исторических социальных систем.

*Две культуры.* Термин придумал Ч. П. Сноу в 1950-е годы. Он обозначает вполне определенное разделение «культур», а по сути эпистемологий, на гуманистику и естественные науки. Этот раскол философии и науки, который иногда называют «разводом», свершился в конце XVIII века, но в конце XX века снова обрел актуальность.

*Длительная протяженность (longue durée).* См. СОЦИАЛЬНОЕ ВРЕМЯ.

*Домохозяйство.* Миросистемный анализ использует этот термин для обозначения группы людей, как правило, от трех до десяти человек, которые на протяжении довольно долгого времени, порядка тридцати лет, собирают весь свой доход в общий котел. Появляются новые члены домохозяйства, старые — умирают. В домохозяйство могут входить не только родственники, не всегда они живут в одном месте, хотя чаще это, конечно, родственники, живущие вместе.

*Европоцентризм.* Это понятие имеет негативную окраску, поскольку подразумевает, что все модели, полученные в результате изучения панъевропейской истории и социальной структуры, являются универсальными моделями, которые точно подойдут людям и в других частях света.

*Единодисциплинарный.* Нужно четко отличать этот термин от понятий мульти- или трансдисциплинарный. Последние два термина относятся к популярным ныне идеям о том, что исследования только выиграют, если ученые будут раз-

бираться в двух или более дисциплинах. Единодисциплинарный подход подразумевает, что сегодня по крайней мере в социологии вообще нет достаточных оснований проводить границы между дисциплинами; вместо этого вся работа должна вестись в рамках единой дисциплины, которую иногда называют исторической социальной наукой.

*Идентичности.* См. СТАТУСНЫЕ ГРУППЫ.

*Идеология.* Обычно последовательный набор идей, призванный отстоять определенную точку зрения. Термин может звучать вполне нейтрально (у каждого — своя идеология) или иметь негативную окраску (у них — своя идеология, отличная от нашего научного или ученого исследования). Миросистемный анализ понимает этот термин более конкретно; для нас идеология — это четкая стратегия, существующая на социальной арене, из которой можно сделать определенные политические выводы. Из этой трактовки следует, что идеологии появились только после Великой французской революции, когда возникла необходимость в четкой стратегии в ответ на потребность в постоянных политических переменах, и было их всего три: КОНСЕРВАТИЗМ, ЛИБЕРАЛИЗМ и РАДИКАЛИЗМ.

*Идиографический и номотетический.* Эту пару терминов придумали в Германии в XIX веке для описания *Methodenstreit*, борьбы методов разных ученых-социологов, эта борьба стала отражением разделения ученого мира на две культуры. Ученые-номотеты стояли на том, что методы познания должны быть повторяемыми, «объективными», желательно количественными. Своей целью они видели выведение общих законов, с помощью которых можно было бы объяснить социальную действительность. Ученые-идиографы всегда предпочитали

качественные описательные данные, считали себя гуманитариями и с большим доверием относились к методам ГЕРМЕНЕВТИКИ. Их интересовало толкование, а вовсе не законы, к которым они, мягко выражаясь, относились скептически. (Обратите внимание, что слово «идиографический» отличается от слова «идеографический». Префикс «идио-» происходит от греческого особенный, своеобразный, индивидуальный, поэтому идиографический — относящийся к описанию объекта в его неповторимой уникальности. Префикс «идео-» происходит от латинского картина, форма, идея, а потому идеографический — относящийся к неалфавитным системам письменности, например к китайским иероглифам).

*Инфраструктура.* Дороги, мосты и другие общественные сооружения и структуры, которые принято рассматривать как основу системы производства и торговли.

*Историческая (социальная) система.* Миросистемный анализ соединил слова «историческая» и «система» в одно словосочетание с целью подчеркнуть, что все социальные системы одновременно и систематичны (имеют повторяющиеся черты, которые можно описать), и историчны (непрерывно меняются, в каждый следующий момент система уже другая). Такой парадокс усложняет социальный анализ, но, если строить исследования вокруг этого противоречия, результаты будут намного реалистичнее.

*Исторические социальные науки.* См. ЕДИНОДИСЦИПЛИНАРНЫЙ.

*Кадры.* В книге этим термином я обозначил всех тех людей, которым в социальной системе не достались лидирующие

командные должности, но которых также нельзя отнести к огромной армии лиц, выполняющих простейшую работу. Кадрами прежде всего можно назвать менеджерский состав. Размер их вознаграждения балансирует где-то посередине между вознаграждением персонала высшего и низшего звена. По моим подсчетам, в мировом масштабе на сегодняшний день кадры составляют от 15 до 20 % населения.

*Капитал.* Капитал — это очень спорное понятие. В повседневной жизни капиталом называют активы (богатство), которые используются или могут быть использованы для инвестиций в производительную деятельность. Такие активы существовали во всех известных нам социальных системах. Для Маркса «капитал» был понятием относительным, он считал, что капитал существует только в капиталистической системе и проявляется в контроле над средствами производства в противовес тем, кто обеспечивает рабочую силу.

*Капитализм.* Очень непопулярный в научном мире термин, потому что ассоциируется с марксизмом, хотя, с точки зрения истории мысли, такая ассоциация верна в лучшем случае лишь отчасти. Фернан Бродель говорил, что можно спустить капитализм с лестницы, он влезет в окно. У меня свое понимание капитализма: для меня это историческая система, приоритетом которой является *бесконечное* накопление капитала.

*Капиталистическая мировая экономика.* В этой книге я доказываю, что мировая экономика обязательно должна быть капиталистической и что капитализм может существовать только в рамках мировой экономики. Следовательно, современная мировая система есть капиталистическая мировая экономика.

*Классовый конфликт.* В современной миросистеме — постоянный раскол между теми, кто контролирует капитал, и теми, кого они нанимают.

*Кондратьевские циклы.* Основные циклы взлетов и падений капиталистической мирозкономики. Цикл, состоящий из так называемых фаз А и Б, обычно длится от пятидесяти до шестидесяти лет. Многие экономисты оспаривают само существование Кондратьевских циклов. А среди тех, кто согласен с этой концепцией, не утихают споры о том, чем объясняются эти фазы, и особенно о том, чем бывает вызван возврат от фазы Б к фазе А. Циклы назвали в честь Николая Кондратьева — русского экономиста, описавшего их в 1920-е годы, хотя он был далеко не первым, кто заговорил на эту тему. Сам Кондратьев называл эти циклы длинными волнами.

*Консерватизм.* Одна из трех основных идеологий современной миросистемы со времен Великой французской революции. Существует множество вариаций на тему консерватизма. Основные принципы консерватизма всегда включают чрезвычайно скептическое отношение к законодательным переменам, акцентируя внимание на мудрости традиционных источников власти.

*Либерализм.* Либерализм как термин и как явление появился в начале XIX века в противовес консерватизму. Выражаясь языком того времени, либералы были Партией Движения, а консерваторы — Партией Порядка. Слово «либерализм» сегодня можно встретить во всех мыслимых и немыслимых контекстах. Для некоторых, особенно в Соединенных Штатах, либеральный значит левый или по крайней мере

демократичный в духе «нового курса». В Великобритании либеральная партия заняла центр между консерваторами и лейбористами. В большинстве стран континентальной Европы либеральные партии консервативны в вопросах экономики. Но с конца XIX века многие «либералы» стали заявлять о себе как о реформаторах, готовых строить государство всеобщего благоденствия. Для других либерализм олицетворяет личные свободы, а следовательно, желание ограничить государственную власть, которая, в свою очередь, не прочь ограничить эти свободы. Появившееся в конце XX века понятие «неолиберализм» только добавляет путаницы, потому как этим термином называли консервативную идеологию, заботящуюся о свободе торговли. Миросистемный анализ рассматривает либерализм как одну из трех идеологий (см. идеологии), считает, что либерализм — идеология центра, что он ратует за постепенную (но довольно медленную) эволюцию социальной системы, основой гражданства видит образование, поддерживает принципы МЕРИТОКРАТИИ, при формировании государственной политики отдает ведущие позиции специально обученным профессионалам.

*Manu militari.* Латинское выражение, означает «силой, насильно».

*Меритократия.* Понятие появилось недавно, обозначает, что человек получает должность за заслуги (merit), а не благодаря семейным связям, социальному положению или политической принадлежности.

*Мировая религия.* Это понятие ввели в обиход в XIX веке для обозначения нескольких религий, существовавших на больших территориях, поскольку их надо было как-то отделить

от религиозных верований многочисленных племен (см. племя). Обычно к мировым религиям относят христианство, иудаизм, ислам, индуизм, буддизм и даосизм.

*Мироэкономика, мироимперия, миросистема.* Эти термины взаимосвязаны. Миросистема — это *не мировая* система, а система, которая сама *есть мир* и которая может быть, а фактически почти всегда была, меньше, чем весь мир. Миросистемный анализ доказывает, что единицы социальной действительности, в которых мы живем и по правилам которых мы живем, почти всегда являются миросистемами, отличными от когда-то существовавших на земле, а ныне отмерших минисистем. Миросистемный анализ доказывает, что до сих пор миросистемы существовали лишь в виде мироимперий и мироэкономик. Мироимперия (например, Римская империя или Китай династии Хань) — это большая бюрократическая структура с единым политическим центром и осевым разделением труда, но разными культурами. В мироэкономике — сильное осевое разделение труда, много политических центров, много культур. В этих словах очень важна соединительная гласная «о». Словосочетание «мировая система» говорило бы о том, что в истории существовала только одна система. А словосочетание «мировая экономика» служит экономистам для определения торговых отношений между государствами и не имеет ничего общего с единой системой производства.

*Монополия и олигополия.* Монополией называется ситуация, когда на рынке присутствует только один продавец. Настоящие монополии появляются очень редко. Чаще встречаются олигополии или ситуации, когда на рынке сосуществует несколько, как правило, довольно крупных продавцов. Обычно эти крупные продавцы вступают между собой в сговор и ус-

танавливают цену, которая делает ситуацию на рынке очень похожей на монополию. Поскольку монополии и даже олигополии крайне прибыльны, они распадаются, когда на их рынок выходят конкуренты с таким же товаров, но по более низкой цене.

*Научная деятельность.* Нейтральный термин, который можно употребить и по отношению к деятельности гуманитариев и к работе представителей точных наук, не принимая ту или иную сторону в споре двух культур.

*Национальные движения.* Также их называют националистическими и национально-освободительными движениями. Главная цель таких движений — защитить «нацию», которую, по мнению борцов, притесняет другая нация. Варианты бывали разные: их могли колонизировать, или государство, в котором они жили, не уважало их национальных (как правило, лингвистических) прав, или же, например, представители нации, которая хотела поднять статус своей нации, занимали в государстве низшие ступени социально-экономической лестницы. Часто национальные движения добивались формальной независимости от притесняющей их нации, иными словами, они хотели отделиться от притесняющего их государства.

*Неравный обмен.* Этот термин в 1950-е годы выдвинул Аргири Эммануэль с целью опровергнуть концепцию сравнительного преимущества, предложенную Давидом Рикардо. Эммануэль доказывал, что при обмене товаров, произведенных с низкими трудовыми издержками (товары периферии), на товары, произведенные с высокими трудовыми издержками (товары ядра), нельзя говорить о равенстве сто-

рон, поскольку имеет место переход прибавочной стоимости. Книга Эммануэля получила крайне противоречивые отклики. Многие восприняли саму идею неравного обмена, но отказались принять аргументацию автора относительно того, как это неравенство объясняется.

*Номотетический.* См. идиографический и номотетический.

*Оборотничество и производственничество.* Эти термины имеют смысл исключительно в рамках критики, которую обрушил на миросистемный анализ ортодоксальный марксизм. Некоторые марксисты доказывают, что для Маркса основной характеристикой способа производства была система производства. Таким образом, любой, кто придает особое значение торговле, является сторонником оборотничества, а не производственничества. Совпадает ли это со взглядами самого Маркса — большой вопрос. Но миросистемный анализ никак не может согласиться с тем, чтобы его считали поклонником оборотничества.

*Олигополия.* См. монополия.

*Осевое разделение труда.* Термин, формулирующий доводы о том, что капиталистическая мироэкономика остается целостным образованием благодаря невидимой оси, которая скрепляет характерные для ядра процессы с процессами, типичными для периферии (см. ядро-периферия).

*Партикуляризм.* См. универсализм и партикуляризм.

*Периферия.* См. ядро-периферия.

*Племя.* Этот термин придумали антропологи в XIX веке для обозначения сообществ, которыми жили дописьменные народности. Во второй половине XX века термин подвергли серьезной критике как скрывающий огромное и важное разнообразие системных форм.

*Позитивизм.* Этот термин придумал французский мыслитель XIX века Огюст Конт, еще он придумал называть то, чем он занимается, «социологией». Позитивизмом Конт называл научное мышление нерелигиозного и нефилософского характера, к которому он относил и социальный анализ. Позитивизм был воплощением современности. В более широком смысле позитивизм означает приверженность научным методам, которые лучше всего представлены в физике, по крайней мере в физике Ньютона, которая для ученых оставалась по большей части бесспорной вплоть до второй половины XX века. С этой точки зрения, позитивистская методология во многом синонимична номотетической (см. **ИДИОГРАФИЧЕСКИЙ И НОМОТЕТИЧЕСКИЙ**). Тем не менее и историко-эмпириков часто называют позитивистами, поскольку они ни на шаг не отступают от своих данных, хотя они и далеки от номотетики.

*Полупериферия.* Товаров, характерных для полупериферии, не бывает; бывают товары, характерные для ядра и для периферии. Однако если страна производит примерно одинаковое количество тех и других товаров, а таких стран немало, они продают товары ядра в страны периферии, а товары периферии — в страны ядра. Вот такая ситуация и позволила говорить об этих странах как о странах полупериферии. В этих странах своя особенная политика, и в жизни мировой системы они играют свою особенную роль.

*Прибавочная стоимость.* За этим термином тянется шлейф противоречий и таинственных споров. В своей книге этим термином я пользовался для обозначения реальной прибыли производителя, коей он может и лишиться по причине существования НЕРАВНОГО ОБМЕНА.

*Пролетариат и буржуазия.* В конце XVIII века во Франции словом «пролетарии» стали называть простой люд по аналогии с Древним Римом. В XIX веке этот термин стали применять более конкретно, в основном к (городским) наемным работникам, утратившим связь с землей, а потому зависящим исключительно от заработка. СОЦИАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ и радикальная ИДЕОЛОГИЯ видели в пролетариате антагониста буржуазии по современной КЛАССОВОЙ БОРЬБЕ. Термин «буржуазия» в обиходе с XI века. Первоначально им называли горожан, занимавших социальную нишу между аристократами и невольниками или простыми работниками. Этот термин накрепко связан с профессиями купца и банкира. В XIX веке буржуазия стала постепенно подниматься со средних ступенек вверх, в то время как аристократия теряла свою значимость. Часто термин «средний класс» заменяют слово «буржуазия», хотя первый включает больше людей.

*Радикализм.* Наряду с либерализмом и консерватизмом входит в тройку великих идеологий XIX и XX веков. Радикалы считают, что прогрессивные социальные перемены не только неминуемы, но и очень желательны, и чем скорее они произойдут, тем лучше. К тому же они уверены, что сами по себе перемены не случаются, их надо подстегивать и делать это должны те, кто от этого выиграет. Марксизм во множестве своих вариаций — идеология радикальная, но далеко не единственная. Был еще анархизм. А в конце XX века поя-

вились к тому же новые претенденты на звание радикальной идеологии.

*Свободный рынок.* В соответствии с классическим определением это рынок со множеством продавцов, множеством покупателей, прекрасной информацией (все продавцы и покупатели знают обо всех изменениях цен), при отсутствии политического давления на деятельность рынка. Очень мало рынков, реальных или виртуальных, когда-либо отвечали этим требованиям.

*Синдикалистская акция.* Общее название для любых акций, когда люди собираются вместе с целью защитить свои интересы. Характерным примером является деятельность профсоюзов. Но есть и другие формы синдикалистских акций, к помощи которых прибегают рабочие, да и не только рабочие.

*Система.* В буквальном смысле некая связная целостность с внутренними операционными правилами и определенной последовательностью. В социологии не утихают дебаты по поводу использования слова «система» в качестве описательного термина между историками-идиографами (см. идиографический и номотетический), склонными подвергать сомнению само существование социальных систем или же по крайней мере сомневаться в том, что именно наличие социальных систем в первую очередь объясняет историческую реальность, — и теми, кто считает, что социальная действительность состоит из отдельных индивидуальных действительностей и что система как раз и есть не что иное, как сумма этих индивидуальных действительностей. Употребление в социологии слова «система» предполагает уве-

ренность в существовании так называемых возникающих характеристик. См. также ИСТОРИЧЕСКАЯ (СОЦИАЛЬНАЯ) СИСТЕМА.

*Современная миросистема.* Миросистема, в которой мы сейчас живем и которая зародилась в Европе и Америках в долгом XVI веке. Современная миросистема есть КАПИТАЛИСТИЧЕСКАЯ МИРОЭКОНОМИКА. См. также МИРОСИСТЕМА.

*Социальное время.* Это понятие, которое особенно нравилось Фернану Броделю, дает понять исследователю, что нужно смотреть, как разные временные отрезки отражают разные социальные явления. Бродель разграничивал два временных отрезка, к которым часто апеллировали тогда ученые: короткое время «событий», которое предпочитали ученые-идиографы, и «вечное» время социологов-номотетов (см. ИДИОГРАФИЧЕСКИЙ И НОМОТЕТИЧЕСКИЙ). Но он предпочитал другие социальные времена, потому что они ему казались более важными: структурное время, долгое, но не вечное, было отражением продолжительных структурных явлений, его он назвал длительной протяженностью (*longue durée*); циклическое время составляли взлеты и падения, происходившие в рамках определенного структурного времени.

*Социальное движение.* Это словосочетание возникло в XIX веке и поначалу обозначало движения, которые выступали в защиту интересов рабочих промышленных предприятий, например, профсоюзов или социалистических партий. Со временем термин стали использовать шире, применяя его ко всем движениям, в которых существовало членство и которые участвовали в различных просветительских и политических акциях. Сегодня, помимо рабочего движения, к социальным

движениям относятся движения женщин и защитников окружающей среды, антиглобалистские движения и движения в защиту прав гомосексуалистов и лесбиянок.

*Сравнительное преимущество.* В XIX веке английский экономист Давид Рикардо доказал, что, даже если страна производит два товара дешевле, чем другая, для нее же будет лучше остановиться на производстве только одного из двух товаров — на том, который она может производить с минимальными издержками, а второй товар можно получить от другой страны в обмен на свой дешевый. Это и называется теорией сравнительного преимущества. Рикардо приводил в пример Португалию, считая, что она должна производить вино и обменивать его на английский текстиль, даже несмотря на то, что португальский текстиль был дешевле английского. Глобализация сегодня во многом опирается на принципы этой теории.

*Статусные группы.* Это словосочетание появилось при переводе веберовского термина *Stände*. Вебер позаимствовал слово из феодальной действительности, где существовала разница между разными *Stände* или слоями общества, аристократией, клиром, простолюдинами. Вебер расширил значение этого слова, применив его к существующим в современном мире социальным группам, которые не принадлежали одному классу (этнические, религиозные и т.п. группы), но имели известную солидарность и самоидентификацию. В конце XX века появился термин «идентичности», который значит примерно то же самое, но с более субъективной позиции.

*Суверенитет.* Понятие международного права, впервые получило широкое распространение в XVI веке. Оно означает право государства контролировать все, что происходит в пре-

делах его границ. Таким образом, суверенитет—это отказ регионам в праве бросить вызов центральной власти, а также отказ любому другому государству в праве вмешиваться во внутренние дела этого государства. Изначально сувереном был монарх или глава государства, действующий по своему усмотрению. После Великой французской революции суверенитет стал все больше и больше принадлежать народу.

*Универсализм и партикуляризм.* Эта пара терминов отражает спор номотетов и идиографов (см. номотетический и идиографический). Универсализм утверждает тот факт, что поведение человека подчинено общим правилам, которые универсальны, а следовательно, истинны, для любого места и любого времени. Партикуляризм настаивает на том, что таких универсальных правил не существует или по крайней мере что они не относятся к отдельным явлениям и что роль социолога заключается в том, чтобы объяснять отдельные явления и структуры.

*Феодализм.* Так обычно называют историческую систему, преваляровавшую в средневековой Европе. Это была система порционной власти, в которой существовала лестница господ и вассалов, связанных друг с другом взаимными социальными обязательствами. Например, один пользовался землей другого в обмен на определенные выплаты и гарантии социальной защиты. Как долго эта система просуществовала в Европе и существовала ли она в других частях света—темы постоянных научных споров.

*Эвристика.* Решение проблем путем исследований, помогает в процессе познания, но не претендует на окончательную истину.

*Экзогенный. См. ЭНДОГЕННЫЙ.*

*Экономизм.* Это критический термин, который употребляют, когда хотят показать, что кто-то придает особое значение экономическим факторам при описании социальной действительности.

*Эластичность спроса.* Этим термином пользуются экономисты для определения того, какое место отводит общество покупке того или иного товара независимо от его цены.

*Эндогенный и экзогенный (внутренний и внешний).* Эта пара терминов обычно служит определениями источников основных переменных при объяснении какого-то социального действия, являются ли эти источники внутренними или внешними по отношению к единице социального действия.

*Эпистемология.* Раздел философии, изучающий, как получилось так, что мы знаем то, что знаем, и как нам обосновать правоту нашего знания.

*Ядро-периферия.* Эта реляционная пара стала широко известна после того, как в 1950-е годы Рауль Пребиш и Экономическая комиссия ООН для Латинской Америки применили ее для обозначения осевого разделения труда в мироэкономике. Термин относится к продукции, но для простоты его применяют и по отношению к странам, где производство этой продукции является ведущим. В книге я доказываю, что ключевым показателем, по которому можно отличить процессы ядра от процессов периферии, является степень монополизации, а соответственно, прибыльности.

# БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Для читателя, который хотел бы продолжить изучение предмета, я составил библиографический путеводитель. Он состоит из четырех частей: 1) мои собственные произведения, в которых я развиваю основные темы этой книги; 2) произведения других приверженцев миросистемного анализа, которые освещают те же темы несколько по-иному; 3) произведения, критикующие миросистемный анализ; 4) наиболее значимые произведения, написанные нашими предшественниками, которые я часто упоминал в книге. Этот гид вовсе не претендует на полноту, но надо же с чего-то начинать.

## I. Произведения

### Иммануила Валлерстайна

Существует сборник из двадцати восьми статей, опубликованных с 1960 по 1998 год, в котором освещается весь спектр вопросов, тем или иным образом связанных с миросистемным анализом. Книга называется *The Essential Wallerstein* (New Press, 2000). Все, чего я коснулся в первой главе, более полно описано в отчете международной комиссии, которую я возглавлял, *Open the Social Sciences* (Stanford University Press, 1996), а также в моих книгах *Unthinking Social Science* (2d ed., Temple

University Press, 2001) и *The Uncertainties of Knowledge* (Temple University Press, 2004).

Темы глав со второй по четвертую я подробнейшим образом рассматриваю в моей *The Modern World-System* (3 vols. to date, Academic Press, 1974, 1980, 1989), а также в *Historical Capitalism, with Capitalist Civilization* (Verso, 1995). Еще три сборника моих эссе выпустило издание Cambridge University Press: *The Capitalist World-Economy* (1979), *The Politics of World-Economy* (1984) и *Geopolitics and Geoculture* (1991). Недавний сборник *The End of the World as We Know It* (University of Minnesota Press, 1999) связывает эпистемологические и субстантивные проблемы мир-системного анализа.

Есть еще две книги на вполне определенные темы. Первая: *Antisystemic Movements* (написана в соавторстве с Джованни Арриги и Теренсом К. Хопкинсом, Verso, 1989). Вторая: *Race, Nation, Class* (написана в соавторстве с Этьенном Балибаром, Verso, 1991).

И наконец, подробный анализ того, что происходит сегодня и что нас ждет завтра, — темы пятой главы — вы найдете в трех книгах, которые выпустило издательство New Press: *After Liberalism* (1995), *Utopistics* (1998) и *The Decline of American Power* (2003). Есть еще сборник эссе, который мы с Теренсом К. Хопкинсом курировали, он называется: *Trajectory of the World-System, 1945–2025* (Zed, 1996).

Полный список литературы вы можете найти на веб-страничке: <http://fbc.binghamton.edu/cv-iw.pdf>

## II. ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПРИВЕРЖЕНЦЕВ МИРОСИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

В этот список я включил только тех ученых, которые сами признают, что занимаются миросистемным анализом, и только крупномасштабные работы, опустив эмпирические исследования конкретных ситуаций. Дабы не выделять кого-то особенно, привожу авторов в алфавитном порядке.

Janet Abu-Lughod, *Before European Hegemony: The World-System, A. D. 1250–1350* (Oxford University Press, 1989). В этой книге автор попытался проследить истоки современной миросистемы, начиная с более ранних времен, чем сделал я в *The Modern World-System*.

Samir Amin, *Accumulation on a World Scale: A Critique of the Theory of Underdevelopment* (Monthly Review Press, 1974). Впервые эта работа вышла на французском языке в 1971 году. Автор, по сути, был первым, кто полномасштабно исследовал современный капитализм с позиций миросистемного анализа. Хочу порекомендовать также его недавнюю работу *Obsolescent Capitalism: Contemporary Politics and Global Disorder* (Zed, 2003).

Giovanni Arrighi, *The Long Twentieth Century: Money, Power, and the Origins of Our Times* (Verso, 1994). Несмотря на название, в книге рассматривается развитие современной миросистемы через долгие циклы накопления с XIII века и до наших дней. Еще одна книга, которую написал Арриги в соавторстве с Беверли Сильвер и другими, *Chaos and Governance in the Modern World System* (University of Minnesota, 1999), представляет собой сравнительное исследование переходов от одной гегемонии к другой.

Chris Chase-Dunn, *Global Formation: Structures of the World-Economy* (Basil Blackwell, 1989). Автор теоретически обосновал

структуры капиталистической мирозкономики. Chris Chase-Dunn & Thomas D. Hall, *Rise and Demise: Comparing World Systems* (Westview, 1997). Эта книга явилась лучшей попыткой сравнить многочисленные виды миросистем.

Arghiri Emmanuel, *Unequal Exchange: A Study of the Imperialism of Trade* (Monthly Review, 1972). Будучи опровержением теории Рикардо о взаимовыгодном характере международной торговли, эта книга ввела в обиход термин и понятие «неравный обмен».

Andre Gunder Frank, *World Accumulation, 1492–1789* (Monthly Review, 1978). Книга дает самую ясную и полное представление о его взглядах раннего периода. Более поздняя работа *ReOrient: Global Economy in the Asian Age* (University of California Press, 1998) — пример радикального пересмотра взглядов. В этой книге автор доказывает, что на протяжении пяти тысяч лет существовала всего одна миросистема, центром которой по большей части был Китай, а капитализм представляет собой малозначительное явление. См. критику *ReOrient*'а в работах Самира Амина, Джованни Арриги и Иммануила Валлерстайна в *Review* 22, no. 3 (1999).

Terence K. Hopkins & Immanuel Wallerstein, *World-Systems Analysis: Theory and Methodology* (Sage, 1982). Работы Хопкинса являются основными методологическими произведениями в миросистемной традиции.

Peter J. Taylor, *Modernities: A Geohistorical Interpretation* (Polity, 1999). Объяснение некоторых геокультурных моделей современной миросистемы.

Вдобавок каждый год Отдел политэкономии миросистемы (Political Economy of the World-System, PEWS) Американской Социологической Ассоциации проводит конференции, материалы которых публикует в отдельных сборниках. С 1978 по 1987 год эти отчеты назывались *the Political Economy of the*

*World-System Annuals*, и печатало их издательство Sage. Затем с 1987 по 2003 год они выходили в издательстве Greenwood под названием *Studies in the Political Economy of the World-System*. С 2004 года их издает Paradigm Press. Есть еще два ежеквартальных бюллетеня, публикующих материалы по миросистемному анализу. Первый — *Review*, бюллетень Центра Фернана Броделя по изучению экономик, исторических систем и цивилизаций; второй — Интернет-бюллетень *Journal of World-System Research*, <http://jwsr.ucr.edu>.

И наконец, есть сборник из шестнадцати статей под редакцией Томаса Д. Холла, он называется *A World-Systems Reader* (Rowman and Littlefield, 2000), и здесь вы найдете самые разные взгляды на самые разные темы.

### III. КРИТИКА МИРОСИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

В этом разделе я собрал только тех авторов, которые особенно критиковали миросистемный анализ за всевозможные его недостатки. Такой критике посвящены в основном статьи, а не книги.

Самым первым критиком и, наверное, самым известным стал Роберт Бреннер с его "The Origins of Capitalist Development: A Critique of Neo-Smithian Marxism", *New Left Review* 1/104 (July-August, 1977). Критика была нацелена против Пола Свизи (Paul Sweezy), Андре Гундер Франка (Andre Gunder Frank) и меня и была попыткой вернуться к ортодоксальному производственничеству и англоцентристскому марксизму Мориса Добба (Maurice Dobb).

Вскоре после этого появились два критических отзыва на первый том «Современной миросистемы» (*The Modern World-System* (vol.1)), авторами которых выступили предста-

вители школы автономной сущности государства: Theda Skocpol, "Wallerstein's World Capitalist System: A Theoretical and Historical Critique," *American Journal of Sociology* 82, no.5 (March 1977): 1075–90; и Aristide Zolberg, "Origins of the Modern World System: A Missing Link," *World Politics* 33, no.2 (January 1981): 253–81. Оба, и Скочпол и Зольберг, признают, что во многом обязаны взглядам Отто Хинце (Otto Hintze).

Критике культурологического характера не было конца. Самой ранней и самой полной была критика Стенли Ароновича. См. Stanley Aronowitz, "A Metatheoretical Critique of Immanuel Wallerstein's *The Modern World-System*," *Theory and Society* 10 (1981): 503–20.

От нее отличается критика некоторых ученых из стран третьего мира. См. Enrique Dussel, "Beyond Eurocentrism: The World System and the Limits of Modernity," в F. Jameson and M. Miyoshi, eds., *The Cultures of Globalization* (Duke University Press, 1998), 3–37.

IV. Значимые произведения: предшественники или произведения других крупных ученых, оказавшие влияние на миросистемный анализ

Perry Anderson, *Lineages of the Absolutist State* (New Left Books, 1974). Исследование истории Европы в период ранней современности, которое доказывает, что абсолютизм был одной из форм феодализма.

Anne Bailey and Josep Llobera, eds., *The Asiatic Mode of Production: Science and Politics* (Routledge and Kegan Paul, 1981). Хорошее введение в суть этих споров.

Fernand Braudel, *Civilization and Capitalism, 15th to 18th Century*, 3 vols. (Harper and Row, 1981–84). Классическая методологическая статья "History and the Social Sciences: The *longue durée*," которая появилась в *Annales ESC* в 1958 году, была три

раза переведена на английский язык. Лучший перевод напечатан в Peter Burke, ed., *Economy and Society in Early Modern Europe* (Routledge and Kegan Paul, 1972).

Ludwig Dehio, *The Precarious Balance: Four Centuries of European Power Struggle* (Alfred A. Knopf, 1962). Сжатый и емкий анализ геополитической ситуации в современной миросистеме.

Franz Fanon, *The Wretched of the Earth* (Grove, 1968). Основная теоретическая работа, доказывающая правомерность применения силы национально-освободительными движениями.

Otto Hintze, *The Historical Essays of Otto Hintze*, edited by Robert M. Berdahl (Oxford University Press, 1975). Оказал влияние на школу автономной сущности государства.

R.J. Holton, ed., *The Transition from Feudalism to Capitalism* (Macmillan, 1985). Книга посвящена дебатам Дobbа—Свизи, не без участия многих других.

Nikolai Kondratieff, *The Long Wave Cycle* (Richardson and Snyder, 1984). Новый перевод классической работы 1920-х годов.

Karl Marx, *Capital* (1859) and *The Communist Manifesto* (1848). Думаю, это самые подходящие произведения.

William McNeill. Считается передовым специалистом по «мировой истории», обращает особое внимание на непрерывность человеческой истории и на всемирные процессы, которые прослеживает до глубокой древности. Лучшее представление о его работе дает книга, которую МакНилл написал в соавторстве с сыном, J.R. McNeill, *Human Web: A Bird's-Eye View on World History* (W.W. Norton, 2003).

Karl Polanyi, *The Great Transformation* (Rinehart, 1944). Его классическая работа, имевшая наибольшее влияние, критикует положение о том, что рыночное общество есть в любом случае явление естественное.

Raúl Prebisch. Первый исполнительный секретарь Экономической комиссии ООН для Латинской Америки считается вдохновителем идеи деления миросистемы на ядро и периферию. Очень мало переведено на английский. Лучшее можно найти в *Towards a Dynamic Development Policy for Latin America* (UN Economic Commission for Latin America, 1963). Трехтомное собрание сочинений на испанском языке озаглавлено *Obras, 1919–1948* (Fund. Raúl Prebisch, 1991).

Ilya Prigogine, *The End of Certainty: Time, Chaos, and the Laws of Nature* (Free Press, 1997). Последний и самый понятный обзор его взглядов. Название говорит само за себя.

Joseph Schumpeter, *Business Cycles*, 2 vols. (McGraw Hill, 1939). Самая существенная из его книг, в которой доказано, что длинные циклы начались не в XIX веке, а в XVI.

Adam Smith, *The Wealth of Nations*. Книга была написана в 1776 году, ее часто цитируют, но нечасто читают, а жаль. Маркс говорил, что он не марксист, а Смит, конечно же, был первым критиком собственной теории.

Max Weber, *General Economic History* (Collier, 1966). Лучший источник взглядов Вебера на историческое развитие современного мира.

Eric Wolf, *Europe and the People without History* (University of California Press, 1982). Книга об истории и судьбе неевропейских народов в современной миросистеме.

# ПРИЛОЖЕНИЕ

ИММАНУИЛ ВАЛЛЕРСТАЙН

## ЭВОЛЮЦИЯ СТРУКТУР ЗНАНИЯ В МИРОСИСТЕМНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА КОЛЛОКВИУМЕ  
«ИСТОРИЧЕСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ НАУКА  
В МИРОСИСТЕМНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ»  
3 июня 2005 г., Харьков

Позвольте мне обрисовать эволюцию структур знания в рамках современной миросистемы. Разумеется, собственные структуры знания были присущи и всем ранее существовавшим историческим системам, однако они представляли собой единый модус познания мира. Никогда вплоть до нынешних времен не различались методы постижения истины, добра и красоты.

Как вы прекрасно знаете, в эпоху Средневековья в Европе знание находилось в руках церкви. Истиной считалось то, что церковь провозглашала истиной: церковь знала, что истинно. И самые ранние университеты были, безусловно, структурами церковными.

Начало современного мира и современной структуры знания в XV–XVI веках ознаменовалось появлением людей, ко-

торые стали утверждать, что познание возможно и вопреки церковному догмату. Философы, например, утверждали, что могут познать истину, самостоятельно размышляя о природе мироздания. Суть их критики состояла в том, что церковные догматы являются сугубо умозрительными или спекулятивными, в то время как философ способен, логически рассуждая, дойти до истины.

Можно сказать, что ситуация в XVI–XVIII веках представляла собой попытку философов освободиться от церковной идеологической догматики, добиться того, чтобы в университетах кафедры философии и кафедры богословия имели равные и независимые позиции. Эта борьба ослабила университетскую систему, привела ее к кризису, так что с XVI по XVIII столетие университеты утратили большую часть своего прежнего влияния. В XVII–XVIII веках вне церковной структуры начали появляться новые структуры познания, такие, как академии наук. Это происходило, например, и в России.

Постепенно в конце этого периода новая группа людей (такова уж ирония!) бросают тот же упрек философам, с которым раньше философы обращались к богословам, — упрек в том, что их знание слишком умозрительно и противоречиво. Позднее, в XIX веке, группа людей, выступавших против философии, стала называться учеными-естественниками (scientists). «Естественники» обвинили философов в том, что их наука не экспериментальна, не верифицируема, поэтому они не имеют права утверждать, что они постигают истину.

Однако раскол между гуманитарными и точными науками возникал довольно медленно. Еще в XVIII веке не было совершенно очевидным, кто по какую сторону знания находится. Мой любимый пример — это Иммануил Кант, которого мы

знаем как великого философа. Однако если вы посмотрите, какие курсы преподавал Иммануил Кант в Кенигсбергском университете, вы увидите, что это астрономия, поэтика, собственно философские дисциплины, а также курсы, которые сегодня мы бы назвали международным правом. Для Канта это все было познание, и он не проводил никакой разницы между различными областями знания. Я также могу вам напомнить, что Аристотель специализировался во всех этих областях.

И все-таки люди, которые называли себя учеными-естественниками, чувствовали себя все более стесненно в ситуации размытости границ между различными областями знания. Они стали утверждать, что наука — это исключительно поиск и проверка чистой истины, но не постижение добра или красоты. «Естественники» стремились отделиться от тех, кто занимался рассуждениями об общем благе или занимался поиском прекрасного.

В то же время, в XIX веке, мы наблюдаем возрождение университетов, где сосредотачиваются производство и воспроизводство знания. Нередко любят порассуждать о длительной традиции университетов, восходящей к Средним векам, но это, прямо скажем, романтический взгляд. Современные университеты, возникшие в XIX столетии, кардинальным образом отличаются от средневековых университетов.

Как вы, наверное, помните, в большинстве средневековых университетов было всего четыре факультета: богословия, медицины, права и философии. Факультет богословия постепенно теряет свое значение, и во многих университетах он вообще со временем исчезает. Медицинское и юридическое отделения превращаются в профессиональные школы по подготовке квалифицированных кадров, в таком виде они существуют и по сей день. Самое большое преобра-

зование произошло внутри философских факультетов. В западных университетах и сейчас воздают дань значительности философского факультета: само название докторской степени звучит как PhD—доктор философии.

В большинстве университетов во всем мире происходит раскол философских факультетов на две части—отделение естественных наук и отделение наук гуманитарных; теперь это были два совершенно независимых факультета. Возникает совершенно другая структура университетов, когда профессорский состав становится постоянным: это люди, получающие зарплату в университете, это их основная работа, их должность. Студенты тоже становятся постоянными: они учатся по определенной программе и получают в конце успешного обучения дипломы, которые могут использовать потом для трудоустройства.

Факультеты начинают делиться на кафедры, которые уже выдавали дипломы по более узким специальностям. Например, факультеты естественных наук начинают внутри себя создавать подразделения, называемые кафедрой физики, кафедрой химии, кафедрами астрономии, геологии, биологии и т. д. Гуманитарный факультет также постепенно структурируется: появляется, как правило, отделение, где преподают литературу и языки—как национальные, так и важные иностранные, появляются отделения искусствоведения. Философия при этом становится всего лишь отделением внутри гуманитарного факультета. Возникает очень жесткая институциональная специализация: теперь каждый профессор должен относиться к определенной кафедре, и студенты начинают делиться по отделениям и кафедрам. Теперь уже присваивают не просто степень «доктор философии», а «доктор философии в физике», «доктор философии в германистике», «доктор философии...» в любой другой дисциплине. Очень

важно, подчеркну: что не просто углублялось организационное разделение, а возник институционализированный эпистемологический раскол между двумя факультетами. Естественнонаучные факультеты утверждали, что они — и только они — обладают способностью и методами постижения истины. Другие, гуманитарные, факультеты парировали: мы также способны постичь истину, но эта истина несколько отличается от вашей, естественнонаучной, истины; у нас другие методы постижения истины, в основе которых лежит не эксперимент, не эмпирическое исследование, а процесс *понимания* — метод, который впоследствии будет назван герменевтическим. «Естественники» обвиняли гуманитариев в том, что их размышления абсолютно спекулятивны, а гуманитарии, в свою очередь, уличали оппонентов в том, что «естественники» не озабочены проблемой *смысла*.

Существует два варианта рассмотрения этого раскола, которые я бы назвал «жестким» вариантом и «мягким». «Жесткий» вариант раскола подразумевает, что каждая из сторон заявляет, что их оппоненты занимаются совершенно ненужным делом и только их собственные исследования имеют значение. «Мягкий» подход предусматривает возможность примирения сторон и существования двух равноценных научных течений, занимающихся разными задачами. Пусть «естественники» занимаются поисками истины, а гуманитарии будут заниматься постижением добра и красоты. В некотором смысле этот мягкий вариант раскола имеет место и по сей день.

В тот самый исторический период, когда университеты начинают возрождаться и расцветать, приобретать современную структуру и занимать социально активную позицию, происходит колоссальное изменение в самом мире. Прежде всего огромное воздействие на трансформацию геокультуры

миросистемы оказала Великая Французская революция, поскольку сделала очевидными две идеи.

Во-первых, это идея о том, что изменение является нормой: общество постоянно изменяется. Конечно, и до Французской революции люди наблюдали политические и социальные изменения, но пытались интерпретировать их как простое возвращение к более старой системе. Напомню, этимологическое значение слова «революция» — возвращение к исходному состоянию. Мы, в современном мире, совершенно иначе понимаем слово «революция» — как радикальное фундаментальное преобразование мира, как движение к чему-то новому. Следует помнить, что все это происходит в эпоху Просвещения. Мы видим распространение идеи прогресса, подразумевающей, что происходящие изменения — это всегда изменения к лучшему. И вторая новая идея, которую распространила и укоренила во всем мире Великая Французская революция, — это идея народного суверенитета: суверенитет принадлежит не правителю и не наследственной аристократии, а тому, кто называется Народом.

Но если соединить две эти идеи о том, что происходят прогрессивные изменения в мире и что производятся они народами, то появляется очень важный вопрос: как изучать и как понимать изменения мира? Отсюда возникает совершенно новое беспрецедентное третье течение в познании — то, что теперь мы называем социальными науками. Социальные науки представляли собой попытку применить научный метод к пониманию того, как и что меняется в мире. Государства, сильные мира сего — все они хотели контролировать процесс социальных изменений и отнюдь не желали пускать его на самотек.

Закономерным результатом этого сдвига было возникновение новых дисциплин. Тут же встает вопрос: являются ли эти

новые дисциплины полностью самостоятельным третьим видом познания наряду с естественнонаучными дисциплинами и чисто гуманитарными областями знания или все же они ближе к гуманитариям? Немецкий социолог Вольф Лепенис недавно написал очень важную книгу, которая представляет собой фундаментальное исследование процесса возникновения современных социальных наук. Немецкий заголовок этой книги очень показателен (в отличие от его английского перевода) — «Три культуры»<sup>1</sup>.

Позвольте, я вам сейчас кратко изложу, какие социальные дисциплины возникли и как они себя позиционировали в эпистемологическом расколе между гуманитарным и естественнонаучным направлениями.

Первая из новых социальных дисциплин, которая возникла в это время, имеет на самом деле очень старое название — история. Но, как вы знаете, в самом предмете истории в XIX веке происходит важная революция, которая ассоциируется с именем немецкого историка Леопольда фон Ранке. Знаменитая формула исторического познания Ранке гласит: «...изложить историю так, как это действительно было». Обратите внимание на естественнонаучную тональность в заявлении Ранке. Подразумевается, что прежде история писалась, для того чтобы извлечь какой-то моральный урок или вознести похвалу каким-то выдающимся личностям, теперь же мы излагаем историю факт(олог)ически, *так, как это было на самом деле*. Возникла необходимость в изобретении нового метода изучения истории — работы с источниками, архивами. Предполагалось, что работа с архивными документами и источниками позволит нам узнать, *как это*

<sup>1</sup> Lepenies, Wolf. Die drei Kulturen: Soziologie zwischen Literatur und Wissenschaft. München: Hanser, 1985.

*было на самом деле*, как люди, которые были современниками определенных событий, думали и писали об этих событиях. По определению, история должна была заниматься только прошлым, поскольку полагалось, что задача исследователя — найти сохранившиеся документы, написанные людьми, которые присутствовали при тех событиях, сохраняя эмоциональную невовлеченность. Разумеется, для того чтобы читать эти документы, требовалась очень серьезная языковая подготовка, умение разбирать почерки, интерпретировать тексты. Поэтому совершенно естественно, что большинство историков предпочитают писать о своих собственных странах.

Важную роль играло и то, что государства в это время также были заинтересованы в создании собственной, национальной, истории, которая бы учила гражданственности и патриотизму. Однако что же такое национальное государство? Если вы немецкий историк и работаете примерно в 1850-е годы, *где находится ваша страна?* В то время единой Германии как единого политического субъекта еще не существовало, так что приходилось активно изобретать историю данной страны и ее «народа». Для этого прослеживается как можно дальше в прошлое история немецкоязычной общности, а ее корни начинают искать в глубине веков — две или полторы тысячи лет назад.

Совершенно не случайно, что большая часть исторических исследований, написанных в XIX веке, посвящена изучению нескольких определенных стран и написана историками из этих стран. Если вы пойдете в библиотеку и взглянете на все книги по истории, написанные в XIX веке, вы обнаружите, что девяносто пять процентов исторических работ написаны о пяти — шести странах мира историками этих же стран. Это прежде всего Франция, Германия, Великобрита-

тания, Италия и США. И лишь малая часть исследований посвящена истории России, Швеции и прочих государств. Вы понимаете, насколько политически важными были тогда исторические исследования. Возьмите, например, случай Украины. Сколько в XIX веке написано работ по истории и сколько из них посвящены Украине?

Конечно, возникновение национальных движений послужило своеобразным политическим импульсом, который заставляет историков писать все больше о своем народе, как они его предполагают очертить. Они прослеживают его историческое прошлое настолько, насколько могут договориться о том, как далеко (и где) оно простирается. С позиций интересов государства, написание истории было важным делом, однако, только в отношении прошлого страны и ни в коем случае не настоящего. Тем, кого интересовали современные социальные процессы, приходилось изобретать новые дисциплины.

В конце XIX века возникают и институционализируются три новых дисциплины, которые занимаются современностью: экономика (вернее, то, что впоследствии стало называться экономикой), политология и социология. Но почему целых три дисциплины изучают настоящее и только одна — прошлое? Потому, что либеральная идеология, которая занимала главенствующие позиции в XIX столетии, предполагала, что современное общество разделено на три отдельные сферы — рынок, государство и гражданское общество и каждая из этих сфер обладает собственной логикой развития. Появление этого разделения рассматривалось в качестве основного признака достижения современности. Экономика была призвана изучать то, что происходит на рынке, политическая наука — то, что происходит в государстве, и социология — все остальное.

И так же, как в случае с историей, исследователи этих трех дисциплин занимались преимущественно процессами, происходящими в их собственных странах, и снова это было ограниченное число наиболее развитых и мощных держав своего времени. Разумеется, остальная часть мира тоже требовала изучения. И для этого пришлось изобретать новые дисциплины. Большинство европейских государств в XIX веке создало колониальные империи. Некоторые империи включали в себя заморские территории, что характерно для западноевропейских государств, некоторые — прилегающие земли, как, например, Россия. Идеологически это определялось как контроль над досовременными, немодерными территориями.

Народы, населявшие колониальные территории, считались примитивными. Поэтому появляется дисциплина (сейчас мы называем ее антропологией), призванная изучать формы жизни примитивных народов. Первобытные народы не располагали ни архивами, ни статистикой, а потому исследователи прибегали к этнографическим методам, живя в племенах и изучая разнообразные сферы жизни «дикарей»: что они едят, во что одеваются, как осуществляется управление, каковы их представления о мире. Все эти полевые исследования составляли общую картину жизни нецивилизованных народов.

Однако были еще и народы, которые не могли быть классифицированы в качестве первобытных, в то же время, они и не принадлежали к европейской цивилизации: это Китай, Индия, арабский мир и т. д. И для изучения этих территорий пришлось изобретать новую дисциплину, поскольку они представляли собой высокоразвитые цивилизации, отличные от западнохристианской. У них была развитая письменность, существовали так называемые мировые религии,

и они были наследниками долго существовавших крупных имперских бюрократических структур. Но, с европейской точки зрения, они были несовременными. Появляется новая научная дисциплина — ориенталистика, специально занимавшаяся изучением восточных культур с помощью филологических изысканий их древних текстов, реконструкции философских построений и т. д. Целью этих исследований был поиск ответа на основной вопрос: почему эти народы не смогли прийти к современности?

Итак, посмотрим, какая ситуация сложилась до конца Второй мировой войны, до 1945 года. Возникло шесть дисциплин, которые я бы разделил по трем осям. Первая ось разграничивает изучение Запада и всего прочего мира. В отношении Западного мира действует вторая ось, разделяющая изучение прошлого и настоящего. Последняя сфера, в свою очередь, опять подразделяется на исследование экономики, государств и гражданского общества. Это разделение приобретает смысл только в политико-экономических рамках реалий XIX — начала XX века, в рамках специфического видения сильными мира сего из центра тогдашней капиталистической миросистемы себя и окружающего мира, а также потребностей в том знании, в котором они нуждались.

Теперь перейдем к эпистемологическому вопросу — каким образом различные дисциплины изучают реальность. И «естественники», и гуманитарии утверждали, что ключевой метод познания находится в руках именно у них. Социальные науки, не обладавшие собственной методологией, оказались в ситуации выбора между двумя существующими методами. В результате три дисциплины, изучавшие современный Западный мир, — экономика, политология и социология — перешли на сциентистские позиции. Другие три

социальные дисциплины перешли на сторону гуманитарного герменевтического познания — история, антропология и ориенталистика. По этой причине во многих университетах кафедры истории и востоковедения относились к гуманитарному отделению, а не отделению естественных или социальных наук.

Вторая мировая война изменила все. Во-первых, после войны мы вступаем в эпоху невероятного роста мировой экономики. Вследствие этого послевоенного подъема 50–60-х годов неимоверно расширяется мировая система университетов, значительно растет их общее число, колоссально увеличивается численность профессоров, студентов, растет количество стран, где появляются университетские структуры. В XIX веке развитие упомянутых выше дисциплин, упорядочив кафедральное строение университетов, фактически привело к существенному сужению круга предметов, которые там изучались. Лишь некоторые из них кристаллизировались в качестве самостоятельных дисциплин и могли претендовать на открытие собственной одноименной кафедры. После 1945 года мы видим, что вступает в силу обратная тенденция. Увеличение числа профессоров и аспирантов, которые стремились проводить оригинальные исследования, влечет за собой расширение поля изучаемой проблематики, и возникают новые дисциплинарные ниши исследования. Прежде, до Второй мировой войны, проводилось очень четкое разделение между кафедрами в университете по методу и предмету исследования: экономист не мог быть социологом, социолог не мог быть историком, физик не мог быть химиком, химик не мог быть биологом. Теперь же мы видим, что все дисциплины обзаводятся прилагательными: физическая химия, биохимия, экономическая социология, социальная история и т. д. Границы между дисциплинами размыва-

ются—это результат простого расширения университетской системы.

Второй важнейшей тенденцией послевоенного развития стал подъем антиколониальных национально-освободительных движений и революций в Азии и Африке, что привело к активизации так называемого третьего мира. После того как национально-освободительные движения пришли к власти, Запад политически уже не мог рассматривать Африку просто как территорию, заселенную первобытными племенами, так же как и просто продолжать изучать китайскую филологию после того, как к власти в Китае пришли коммунисты.

Начинает происходить предметно-тематическая экспансия отмеченных нами выше социальных дисциплин. Историки начинают изучать современную историю, социологи начинают заниматься исторической социологией XV столетия или начинают изучать Древнюю Грецию. Четкая разделительная линия, появившаяся в конце XIX века,— между Западным миром и всеми остальными территориями, между прошлым и настоящим, между сферами рынка, государства и гражданского общества—начинает размываться. Как следствие — подрывается само интеллектуальное обоснование разграничения различных дисциплин, бытовавшее в XIX веке. Однако дисциплины представляют собой нечто большее, чем интеллектуальные конструкторы, поскольку являются еще и организационными структурами: это одноименные университетские кафедры, это национальные и международные ассоциации ученых, это соответствующая сеть академических журналов, это студенты, получающие диплом в данной области знания, и т. д. После Второй мировой войны все элементы этой организационной инфраструктуры значительно окрепли, и оснащенные таким

тылом дисциплины начинают вести отчаянную борьбу за свое «место под солнцем», отгоняя чужаков от своего «научного квартала».

Итак, мы наблюдаем конфликт между исчезающими четкими основаниями выделения отдельных дисциплин и их постоянно усиливающейся организационной властью для защиты внутренней инфраструктуры. При этом перевес пока явно на стороне последней: преподаватели задают ориентиры своим студентам, определяя, что они должны изучать, какие курсы слушать, какую литературу читать. Профессура указывает молодым преподавателям, в каких журналах тем следует издавать свои работы. Это удерживает исследователей в определенных дисциплинарных рамках, выход за которые строго карается.

Тем не менее существенные социальные преобразования, приведшие к расширению базы знания, создают новые силы, которые подрывают дисциплинарные границы. В 1970-х годах возникают две новые очень мощные тенденции развития знания. Первая тенденция касается естественных наук и приводит к появлению наук, которые изучают сложные неравновесные системы. С точки зрения этих новых естественнонаучных направлений, аксиомы, которыми пользуется современная наука со времен Декарта и Ньютона, являются попросту неверными: они отрицают идею линейности развития большинства происходящих процессов; критикуют принципы детерминизма, лежащие в основе классической науки, согласно которым познание существующих закономерностей дает ключ к пониманию того, что произойдет в будущем; ставят под сомнение научное представление об обратимости «стрелы времени» в физических и химических процессах. Вместо старых представлений возникает идея о том, что все процессы, протекающие в сложных сис-

темах, с течением времени подвергаются постоянной трансформации, всё дальше удаляясь от точки равновесия. Максимальный сдвиг от точки равновесия приводит к состоянию бифуркации, и, согласно этим новым представлениям, невозможно спрогнозировать дальнейшее направление движения от точки бифуркации. И все процессы развиваются по «стреле времени»: время необратимо, даже на уровне атомных структур. Не все химики, физики, биологи разделяли точку зрения этого нового подхода, однако это был существенный поворот в развитии естественных наук.

В то же самое время и в развитии гуманитарных наук наблюдается новое самостоятельное движение, которое сейчас мы называем культурологическим подходом (*cultural studies*). Итак, что мы можем сказать о методологической специфике культурологических исследований? Они отрицают возможность познания и описания канонов красоты, на которой зиждилось всё предыдущее гуманитарное познание. Каноны прекрасного являются социальными конструктами, политическими решениями, отражающими ценности и представления власть имущих слоев и не включающими в себя представления иных, менее влиятельных групп общества. Каждый из потребителей продукта культуры — читатель, зритель — привносит в него свою собственную интерпретацию, которая настолько же значима, как и любая другая. Опять же, это было революционное движение в гуманитарном познании, не все искусствоведы или филологи согласятся с ним, однако постепенно к нему примыкало все большее число исследователей внутри различных гуманитарных дисциплин.

Давайте посмотрим, что это означает в эпистемологическом плане. Теоретики сложных неравновесных систем утверждают, что поиски истины уже не являются исключи-

тельной монополией естественных наук; не менее важно и то, что в изучение физического мира также привнесено понятие необратимой «стрелы времени», которая становится важным фактором в анализе физических, химических, биологических, астрономических, космологических процессов. Естественные науки с этой точки зрения не отделяются и не отличаются от культуры, но становятся частью самой культуры.

Теперь — что касается эпистемологических позиций культурологических исследований. Согласно этому подходу более не существует монополии со стороны тех или иных дисциплин на понимание сущности того, что есть благо и что есть красота: это часть социальных процессов. Нет единой истины — есть множество возможных истин.

В последние 30 лет среди «естественников» и гуманитариев наблюдается тенденция преодоления эпистемологического раскола, возникшего в конце XIX века между гуманитарными и естественными науками. С двух сторон происходит движение в ту область, которую традиционно занимали социальные науки. Значение временной последовательности и пространственной локализации становится центральной темой социальных исследований.

Таким образом, мы втянуты в процесс, длящийся уже два столетия, при котором возникают и размываются границы естественных и гуманитарных дисциплин, и проблема разделения этих двух областей знания является фундаментальным вопросом как для одной, так и для другой стороны. И это означает, что мы приближаемся к окончательному преодолению четкого разграничения между способами постижения истины, добра и красоты. Этот процесс еще не завершен, и нет твердой уверенности в том, что мы достигнем консенсуса относительно нового единого эпистемологиче-

ского подхода. Как это повлияет на организационную структуру университетов — этот вопрос пока остается без ответа. Например, будут ли через 20–30 лет в Харьковском национальном университете те же кафедры, те же факультеты, которые существуют сейчас, я не знаю. Мы живем в смутный период, и поэтому необходимо отчетливо помнить отличие между интеллектуальным и организационным основанием разделения дисциплин.

*Перевод с английского Г. Дерлугьяна  
Подготовка стенограммы к печати О. Сотниковой  
Научная редакция А. Фисуна*

*Иммануил Валлерстайн*

**Миросистемный анализ: Введение**

Редактор *Л. Макарова*

Оформление серии *В. Коршунов*

Верстка *С. Зиновьев*

Формат 70 × 100 1/16. Бумага офсетная. Печать офсетная

Усл. печ. л. 20. Уч.-изд. л. 9,7.

Тираж 3000 экз. (1-й завод 1100 экз.)

Заказ № 4639

Издательский дом «Территория будущего»

125009, Москва, ул. Б. Дмитровка, 7/5, стр. 2

Отпечатано в ГУП ППП «Типография «Наука»

121099 Москва, Шубинский пер., 6